

ХОДОРЕВ С.В.



«ЖИЗНЬ ПОСЛЕ»

18+



Сергей Ходорев

Жизнь после

«Автор»

2026

Ходорев С.

Жизнь после / С. Ходорев — «Автор», 2026

> Сергею четырнадцать, когда он возвращается из спецшколы домой. Отец говорит «здравствуйте». Мать спрашивает «чай будешь?». Братья пробегают мимо. Он — как старый сундук: стоит, занимает место, выбросить жалко, открыть незачем.>> Дома — не дом. Тётя Надя встречает его: «Серёжа! Боже мой!» — и в этом «Серёжа» тепло, которого нет дома. Но чужое тепло — не замена.>> Через три месяца — грабёж на улице, кража в чужой квартире, паром через Обь и побег в Нижневартовск. Потом — монастырь в Абалаке, отец Арсений, четырнадцать дней навоза и молитв. «Не твоё место», — скажет батюшка. И Сергей уходит. Снова — вокзал, чердак, бетон.>> Потом — арест. Камера 15. Самоха, который учит: на взрослой зоне кулак не спасёт, слово спасёт. Родители не придут. Не напишут. Не передадут.>> Декабрь. Минус сорок. Вертолёт Ми-8. Этап. «Это уже другая книга.»

© Ходорев С., 2026

© Автор, 2026

Сергей Ходорев

Жизнь после

4. Книга.

Жизнь после.

Сергей сидел у окошка-иллюминатора и смотрел, как приближается взлётная полоса. Самолёт снижался медленно, и внизу проплывала земля — тайга, реки, болота, дороги, которые казались нитками, натянутыми по зелёному. Дома становились крупнее, отчётливее. Сначала точки, потом коробки, потом — крыши, дворы, машины. Сергей прижался лбом к стеклу. Стекло было холодное, и от холода по виску пошла мёртвая свежесть, и он не отодвинулся. Хотел видеть. Хотел запомнить. Как выглядит земля, по которой он не ходил четыре года.

И вот колёса самолёта коснулись посадочной полосы. Толчок. Сухой, резкий, как удар по плечу. Самолёт пробежал по бетону, замедляясь, и остановился. В салоне зашевелились — кто-то застёгивал ремень, кто-то уже вставал, доставал сумки с полки. Сергей не двигался. Сидел и смотрел в иллюминатор. За стеклом — серое небо, серый бетон, серые строения аэропорта. Серый Сургут. Родной. Чужой.

Стюардессы начали говорить: «Можете отстёгивать ремни... Мы приземлились в городе Сургуте». Голос был ровный, усталый, безразличный — как объявление на автобусной остановке. Сургут. Город, в котором он родился. Город, из которого его увезли. Город, в который он возвращался — не домой, а просто — обратно. В то место, откуда когда-то начал.

Сергей отстегнул ремень. Руки были спокойные. Слишком спокойные. Он знал это состояние — когда внутри всё сжато, а снаружи ничего. Когда тело знает, что делать, а голова ещё не решила. Так было перед побегом. Так было перед дракой. Так было сейчас — перед возвращением.

Он боялся. Не так, как боялся в спецшколе, когда ночью слышал шаги в коридоре, или когда забирался на крышу и смотрел вниз. Тот страх был острый, быстрый, как укол. А этот — тупой, ноющий, как зуб, который ноет не сильно, но постоянно, и ты не можешь отвлечься. Он не ощущал, что он дома. У него были маленькие надежды, что его ждут, что его сейчас встретят. Что кто-то будет стоять у выхода из аэропорта с табличкой или просто — стоять и смотреть. Мать. Отец. Кто-нибудь. Но также в нём переполнял риск, что он придёт как тень, и его никто не заметит. Что он постучит в дверь, и ему откроют, и скажут «здравствуйте», как чужому, и пройдут мимо, и он сядет в своей комнате и не будет знать, что делать. Он всегда настраивал себя на плохое. На самое плохое. Так проще: если плохое случится — ты готов, а если хорошее — сюрприз. Но хорошего почти никогда не бывало, и он уже начал привыкать к этому в жизни. Привыкать — не значит смиряться. Привыкать — значит переставать удивляться. А переставать удивляться — значит переставать ждать. А переставать ждать — значит уже наполовину умереть. Но он не думал об этом. Он просто шёл.

Вот Сергей спустился по трапу. И вот его первые шаги по взлётно-посадочной полосе. Ноги в кроссовках — казённых, серых, стоптанных — коснулись бетона. Бетон был тёплый, нагретый солнцем, и от него поднималось тепло, и пыль стояла в воздухе мелкая, густая. Воздух пах бензином, гарью и чем-то ещё — деревом, болотом, хвоей. Сургутский воздух. Он узнал

его. Не носом — лёгкими. Тело вспомнило раньше, чем голова. Этот запах он знал с детства, с тех времён, когда бегал по дворам босиком и не знал, что такое спецшкола.

Он спокойно прошёл до аэропорта. Люди шли мимо — кто с чемоданами, кто с детьми, кто с цветами. Никто не смотрел на него. Он был один из многих. Пацан в серой куртке, с сумкой через плечо. Обычный. Незаметный. Невидимый. Он привык быть невидимым — в спецшколе невидимость была спасением. Не высовывайся, не отсвечивай, не попадайся на глаза — и проживёшь. Но здесь, на свободе, невидимость ощущалась иначе. Здесь она не спасала. Здесь она просто означала, что ты — никому не нужен.

Вышел со стороны города. Автобус ждал недолго, автобус подошёл минут через пять. Он сел в автобус и поехал в город, в свой родной дом. Ну хотя домом это было назвать тяжело. Автобус был старый, «ПАЗик», жёлтый, раздолбанный, с трещиной на лобовом стекле и сиденьями, обтянутыми клеёнкой, которая липла к рукам. Он сел у окна. Смотрел. Улицы бежали мимо — знакомые и незнакомые одновременно. Вот заправка, вот магазин, вот остановка, вот школа — не его, чужая. Вот берёт начало дорога на автостанцию. А вот — поворот, за которым должен быть его район. Сердце стукнуло. Один раз, сильно, как кулаком в грудь. И успокоилось. Он посмотрел в окно и отвернулся. Не надо. Не сейчас.

Сергея почему-то охватывал испуг — не страх, а испуг: то чувство, когда ты знаешь, что должно случиться что-то плохое, но не знаешь, что именно, и от этого неизвестности хуже, чем от самого плохого. Испуг того, что он там не нужен. Потому что его не приехали встречать, как любые другие родители прибежали бы за своим ребёнком, забирать Сергея. Это не грозило. Он знал это. Знал ещё в спецшколе, когда воспитатели говорили: «Вот выйдешь — тебя встретят, обнимут». И он кивал. И молчал. И думал: нет. Не встретят. Не обнимут. Потому что он знал своих. Он знал, как они к нему относятся. Не ненавидели — нет. Хуже. Равнодушные. Равнодушные — это когда ты есть, но тебя как бы нет. Когда тебя не выгоняют, но и не зовут. Когда тебя не бьют, но и не обнимают. Когда ты — как старый сундук в углу комнаты: стоит, занимает место, выбросить жалко, но и открыть незачем, потому что внутри — ничего.

Сергей вышел на знакомой остановке у магазина «Юбилейный». Магазин стоял на месте — такой же квадратный, облупленный, с вывеской, которая еле держалась. Рядом — лавочки, урна, деревья, посаженные давно и выросшие кривыми от ветра. Даже была песенка про этот магазин, её пели пацаны во дворе, хором, с гитарой, когда собирались вечером:

«Есть в Сибири город Сургут,
Лучше не ходи туда один —
В морду двинут, деньги вынут,
И твои глаза на лоб надвинут...
Мой любимый город Сургут!
Есть там юбилейный магазин,
Лучше не ходи туда один —
В морду двинут, деньги вынут,
И твои глаза на лоб надвинут...
Мой любимый город Сургут!»

Сергей вышел на остановке. Постоял. Огляделся. Ничего не изменилось в городе. Те же дома, те же деревья, те же дороги. Ещё были года такие — 99-й год. Сергею четырнадцать лет. Всё ещё только начиналось. Страна переживала нехорошие времена — по телевизору говорили

про дефолт, про кризис, про то, что зарплаты не платят, что заводы закрываются. Люди были злые, уставшие, пуганные. Но Сергея это не касалось. Он не знал про дефолт и про кризис. Он знал про свой кризис — маленький, личный, внутри. Кризис одного человека, которому некуда идти.

Сергей потихоньку брёл до дома по знакомым тропинкам, знакомым улицам. Ноги помнили дорогу — туда, сюда, мимо гаражей, через двор, за угол. Тело шло само, и голова не вмешивалась. Он смотрел по сторонам, но как-то мимо — не вглядываясь, не запоминая. Просто глаза были открыты, и мир попадал в них, и выходил, не задерживаясь. Вот он увидел свой дом — пятиэтажка из красного кирпича. В том районе их стояло всего три таких пятиэтажки, они выделялись всегда — среди серых панельных коробок они были как три красных зуба. Район назывался Три ГГ, а переводился просто — третий гостиничный городок. Не знаю, кто придумал данное название данному микрорайону. Может, потому что дома были гостиничного типа — длинные коридоры, общие кухни, маленькие комнаты. А может, потому что жить тут было как в гостинице — временно, не навсегда, будто ты остановился на ночь, а потом уедешь. Некоторые так и «уезжали» — навсегда.

Сергей прошёл от первого подъезда до последнего, потому что он жил в последнем подъезде. Двери подъезда были открыты — вернее, не было дверей, просто проём, тёмный, пахнувший мочой и плесенью. Лестница была та же — стёртые ступени, исписанные стены, разбитые окна на площадках. По дороге ему не попадались ни соседи, ни кто-либо другой. Тихо. Пусто. Будто вымерший дом. Только где-то наверху хлопала дверь — ветер, или кто-то пришёл-ушёл, и снова тишина.

Он зашёл в подъезд, набрался смелости, поднялся на четвёртый этаж, нажал на звонок. Звонок был тихий, хриплый — будто и он устал за эти годы. Подождал. Сердце билось быстро, но руки не дрожали. Он умел держать руки. Умел держать лицо. Четыре года спецшколы научили: не показывай, что боишься. Не показывай, что ждёшь. Не показывай ничего. Просто стой. Просто жди.

Послышались за дверью какие-то шаги. Тяжёлые, медленные. Отца шаги. Он узнал их — по тяжести, по ритму. Мать ходила легче, быстрее, с постукиванием каблуков. Братья бегали. А отец — шёл. Шёл так, будто каждый шаг стоил ему усилия, будто он нёс на плечах что-то тяжёлое, невидимое. Дверь была привычная железная, самодельная железная дверь. Раньше двери не ставили. Раньше сами делали, сами устанавливали — из листового железа, на уголках, с засовом изнутри. Тяжёлая, некрасивая, но надёжная. Такая, чтобы не выломали. Чтобы не зашли. Чтобы не увидели, что внутри.

Вот открылась дверь. На пороге стоял отец. Он не удивился приходу Сергея. Не обрадовался, не испугался, не замер. Просто — открыл, посмотрел, сказал «здравствуйте» сухо, без эмоций. Как почтальон, который принёс газету. Как сосед, который здоровается в подъезде. «Здравствуйте». Не «сын», не «Серёжа», не «ты приехал». «Здравствуйте». Одно слово, и в нём — ни тепла, ни холода. Ничего. Пустота. И эта пустота ударила сильнее, чем если бы он крикнул, ударил, выгнал. Крик — это эмоция. Удар — это внимание. А «здравствуйте» — это ничего. Это даже не равнодушие. Это — отсутствие.

Сергей кивнул. «Здравствуйте». Тоже сухо. Тоже без эмоций. Они были похожи — отец и сын. Не внешне, а по тому, как держали лицо. По тому, как прятали. Оба не умели показывать.

Оба не хотели. Разница была в том, что Сергей ещё помнил, что когда-то умел. А отец — забыл. Или не умел никогда.

Сергей зашёл. Коридор был тот же — узкий, тёмный, с вешалкой у стены и ковриком на полу. Коврик был новый, не тот, что был раньше. Мелочь, но он заметил. Заметил, потому что тело помнило каждый сантиметр этого коридора — где повернуть, где наклониться, где пройти. А коврик был новый, и от этого коридор стал чужим. Чужой коврик в своём коридоре. Мелочь. Но мелочи — это то, что делает дом домом. А когда мелочи меняются — дом перестаёт быть домом. Он становится квартирой. Просто квартирой.

Мать не подошла, не поздоровалась, она сидела в зале на диване, смотрела телевизор. Телевизор был новый — большой, цветной, с пультом. Раньше был маленький, чёрно-белый, с ручкой. Ещё одна мелочь. Сергей постоял в дверях зала. Мать не обернулась. Она смотрела передачу — что-то про политику, про выборы, про то, что в стране творится. Она смотрела, как будто его не было. Как будто он не стоял в дверях. Как будто он не вернулся. И он понял: для неё его и не было. Четыре года. Она привыкла. Привыкла к тому, что его нет, что комната пустая, что за столом на одного меньше. Привыкла — и не хотела отвыкать. Его возвращение было не радостью, а помехой. Ещё один рот. Ещё одна проблема. Ещё один человек в маленькой квартире, где и так тесно.

Братья бегали, поздоровались. Младшие — шумные, быстрые, живые. Они не сильно изменились — выросли, конечно, но лица те же, голоса те же. Они поздоровались и побежали дальше. Не обняли, не прижались, не спросили «где ты был». Просто — «привет», и мимо. Они не знали его. Четыре года — для маленьких это вечность. Они забыли. Забыли, что у них есть старший брат. Забыли, как он выглядел, как говорил, как пел. Он был для них — незнакомец. Чужой дядька, который пришёл и сел в комнате.

Сергей разулся, прошёл в комнату. Комната была маленькая, та же, что и раньше. Кровать, стол, шкаф. Только кровать была пустая — раньше на ней спал кто-то из братьев, наверное, или она просто стояла и собирала пыль. Он постоял в дверях. Не знал, чё делать, чё он должен делать, чё ему делать? Попить чай или сидеть в комнате, пока его не позовут? Он не знал. Он был будто вернулся в чужую квартиру, не ту, где у него родные родители, родная мать, родной отец. В данной квартире будто никто не хотел его видеть. Прошло четыре года, и очень хорошо сликлись, что Сергея не было. Без Сергея всё хорошо, просто Сергея вычеркнули из своей жизни. Его не ждали. Его не звали. Его не вспоминали. Его — не было. Как не было. И вот он пришёл — и всё нарушил. Своим присутствием он напомнил им, что он есть. А они не хотели помнить.

Для чего ломали ему всю жизнь и не могли отказаться официально от него, чтобы хоть в детском доме может быть за ним ухаживали лучше? А может быть даже кто-нибудь и усыновил бы его или взял над ним опеку. Нет, они решили ломать Сергею жизнь до конца. Держать его на привязи — не при себе, не отдавая, не отпуская. Ни там, ни тут. Висеть между. Как тот старый сундук. Он вроде бы есть, и выбросить его жалко, ну и он по сути дела ненужный. Просто его родители подарили. Жалко его выкидывать. У нас даже дома тогда стоял такой старый сундук — в углу, за шкафом. Никто его не открывал, никто в него не заглядывал, никто не знал, что внутри. Просто стоял. Занимал место. Как Сергей. Только сундук не чувствует. А Сергей — чувствовал.

Сергей просидел в комнате. Сидел на кровати, смотрел в стену. Стена была та же — обои с цветочками, бледные, отстающие в углах. Раньше, когда он был маленький, он разглядывал эти цветочки и придумывал, что это — лес. Что каждый цветок — дерево, а между ними — тропинки, и по тропинкам кто-то ходит. Маленький, невидимый. Он. Только он тогда не знал, что играет в себя. Что придумывает себя. Что выдумывает себе жизнь, которой нет. А потом перестал. Вырос. Или сломался. Одно и то же.

Потом в оконцовке его позвали всё-таки попить чай. Мать — крикнула из кухни: «Чай будешь?» Не «Серёжа, иди попьё чай», не «сынок, ты голодный?». Просто — «чай будешь?». Как соседу. Как чужому. И он пошёл, потому что надо было пойти. Потому что если не пойдёт — будет хуже. Будто обидится. Будто отвергнет. Будто ему не нужен их чай, их дом, их присутствие. А ему надо было — не чай, не дом. Надо было, чтобы позвали. Чтобы по имени. Чтобы — «сынок». Но этого не было. И он пошёл на «чай будешь?».

Он прошёл на кухню. Кухня была маленькая, тесная, с газовой плитой и столом, покрытым клеёнкой. Ему налили чай. Он сказал, чтоб ему налили без сахара. Ему мать налила чуть-чуть заварки, как всем братьям — одинаково, ровно, никого не выделяя. Он взял, долил себе ещё заварки — из чайника, который стоял на плите. Заварка была тёмная, густая, почти чёрная. Он любил крепкий чай. В спецшколе чай был слабый, водянистый, из пакетиков, и он мечтал о настоящем, крепком, таком, чтобы зубы ныли. Сахара ему не надо. Сахар — для тех, кому сладко. А ему не было сладко. Давно.

Он пил молча крепкий чай. Попил чая в этой бездушной теплоте, которой не было. Теплота — это когда тебе наливают чай и смотрят на тебя. Когда спрашивают «как ты?». Когда сидят рядом и молчат — но молчат тепло, не холодно. Здесь было тихо, но тишина была другая. Не та, что обнимает, а та, что отстраняет. Тишина, которая говорит: «ты здесь, но ты не здесь». Он пил чай и чувствовал, как горячая вода идёт внутрь, и от неё теплеет желудок, но не душа. Душа оставалась холодной. И от чая, и от кухни, и от матери, которая сидела напротив и не смотрела.

Вот этого он и боялся, когда освобождался, что опять всё придёт к тому же, что данная атмосфера его ни к чему не приведёт. Что он вернётся — и всё будет как было. Как до спецшколы. Как до всего. Тот же холод, то же молчание, то же равнодушие. Он допил чай и понял, что дома не больно рады и не будут больно препятствовать, если он пойдёт гулять. Не рады — но и не прогоняют. Не обнимают — но и не выгоняют. Просто — есть. И есть — и есть. Как сундук.

Он допил чай, обулся, сказал, что пойдёт погуляет. Сказал — тихо, в пространство, не обращаясь ни к кому. «Пойду погуляю». Никто не ответил. Никто не спросил «куда», «надолго ли», «когда вернёшься». Просто — «пойду погуляю», и тишина, и он вышел, и дверь закрылась за ним, и он стоял на лестничной площадке, и сердце билось, и руки были спокойны, и он пошёл вниз по ступеням, и каждый шаг был как шаг в пустоту.

Сергей ушёл.

Он гулял по району, гулял по дворам. Дворы были те же — те же гаражи, те же качели, те же песочницы, те же деревья. Только качели были новые — железные, покрашенные, не те, деревянные, на которых он когда-то раскачивался. Опять мелочь. Опять не то. Ему никто не попадался из знакомых на пути — ни детей, ни взрослых. Может, они были, но не замечали

его, как не замечали в аэропорту. Или он не замечал их — потому что не хотел. Не хотел видеть чужие лица, чужую жизнь, чужое счастье. Не потому что завидовал — нет. А потому что чужое счастье делает своё несчастье ещё виднее. Как свет: когда светло — темнота заметнее. А в темноте — темнота нормальна. Привычна. Удобна.

Он думал, что надо сходить к дяде Саше, к Валерию Курганскому, к тётке Нади. Но думал, что это он сделает не сегодня, сделает на днях. Сегодня ему слишком больно от того, что его самые страшные ожидания подтвердились — подтвердились, что он никому не нужен. Что дом — не дом. Что мать — не мать. Что отец — не отец. Что братья — не братья. Что он — чужой среди своих. С этими мыслями одиночества он гулял. Одиночество шло рядом, как тень — не отставая, не опережая, просто — рядом. Как собака, которая привязалась и идёт за тобой, и ты не гонишь, потому что знаешь: это единственное существо, которое идёт с тобой.

Он гулял и с одной стороны проклинал Бога: для чего, для чего его родили вообще, зачем он должен быть на этом свете? Он не молился, не просил — он кричал внутрь, в темноту, в пустоту, в то место, где должен был быть бог, но не было. Для чего? Для кого? Ради чего? Он ненавидел всё — ненавидел солнце и небо, ненавидел землю, по которой ходит. Солнце светило — и он злился: чего светишь? Кому? Мне? Мне не надо. Небо было синее — и он злился: чего синее? Будто всё хорошо? Будто ничего не случилось? Земь была под ногами — и он злился: чего держишь? Зачем? Отпустила бы — и упал бы, и конец. Ему всё было плевать на свою жизнь. Если бы мог он умереть, он бы наверное умер. Не от боли — от усталости. От того, что устал жить, а жить надо. Устал ждать, а ждать нечего. Устал надеяться, а надеяться не на что. И от этой усталости — не слабость, нет. Усталость была тяжёлая, как свинец, но она не ломала. Она — наполняла. Наполняла так, что не оставалось места ни для чего другого. Ни для радости, ни для страха, ни для злости. Только усталость. Только свинец. Только — «зачем».

Так с такими мыслями он гулял, гулял до позднего вечера. Солнце село, и небо стало тёмным, и зажглись фонари — жёлтые, тусклые, моргающие. Дворы опустели. Стало холодно — сибирский вечер, даже летом, холодит. Он ходил и ходил, кругами, по одним и тем же дворам, и не замечал, что ходит по кругу, и может, замечал, но не останавливался, потому что остановиться — значит сесть, а сесть — значит остаться, а остаться — значит признать, что некуда идти. А он не мог признать. Пока шёл — был. Пока двигался — жил. Остановишься — и станешь сундуком.

Поздно вечером пошёл домой, потому что он предполагал, что если ещё позднее пойдёт домой, его уже никто не пустит, просто не пустят, устроят скандал. И скандал — это лучше, чем дверь, закрытая перед носом. Скандал — это хотя бы внимание. А закрытая дверь — это конец. Из-за этого он часов в девять пошёл домой. Так же поднялся молча на четвёртый этаж, позвонил, ему открыли дверь, он зашёл, разулся, умылся. Умывался долго — стоял над раковиной, вода текла, и он держал руки под водой, и вода была холодная, и от холода руки немели, и он не убирал, потому что холод был лучше, чем то, что снаружи. Снаружи — дом. А дом — не дом. А холодная вода — настоящая. Она — есть. Она течёт, она холодит, она живая. И он стоял, и вода текла, и он не двигался, пока кто-то не постучал в дверь туалета — «ты чё там, уснул?» — и он убрал руки, вытерся и вышел.

Прошёл на комнату, в той, где он сидел когда-то на цепи. Кровать была пустая. Он помнил цепь — помнил, как она звенела, когда он двигался, помнил, как натирала запястье, помнил, как учился спать, не шевелясь, чтобы не звенеть. Цепи не было. Но след остался — не на запястье, а внутри. Там, где цепь — не железная, а другая, тоньше, длиннее, прочнее. Цепь,

которую не снять. Которая идёт с тобой — из комнаты в комнату, из дома в дом, из спецшколы в свободу и обратно.

Он лёг сверху на покрывало, ничего не расправляя, не одеваясь. Покрывало было холодное, синтетическое, скользкое. Он не разделся — не потому что не хотел, а потому что не было сил. Сил хватило лечь. Отвернулся к стене. Стена была близко — он мог дотянуться рукой, мог положить ладонь на обои с цветочками. Не дотронулся. Просто лежал и смотрел в стену, и стена была близко, и от неё пахло клеем и старой бумагой, и этот запах был единственным знакомым запахом в этом доме. Всё остальное — чужое. Новый телевизор, новый коврик, новые качели, новые запахи. А стена — та же. И обои те же. И цветочки те же. И он лежал, и смотрел на них, и не придумывал лес. Не было леса. Не было тропинок. Не было маленького невидимого человечка. Был только он, Сергей, четырнадцать лет, на покрывале, в комнате, где когда-то сидел на цепи, в квартире, где его не ждали, в городе, откуда его увезли, в жизни, которая не сложилась.

С грустными мыслями о своей никчёмной жизни уснул.

Глава 2. Утро, которого не было

Сергей проснулся где-то ближе к полудню. Солнце уже было высоко — било в окно прямой, жёсткой полосой, и пыль в луче кружилась медленно, лениво, как будто ей тоже некуда было деваться. Сергей лежал и смотрел в потолок. Потолок был белый, с трещиной посередине — тонкой, как нитка. Раньше трещины не было. Или была, но он не помнил. Четыре года — это долго. Даже для потолка.

Он прислушался. В квартире было тихо. Не просто тихо — пусто. Тот тип тишины, когда знаешь, что люди рядом, но они тебя не слышат. Или слышат — но делают вид, что не слышат. Где-то в зале работал телевизор — негромко, бубнёжом, голос диктора, который говорил про что-то далёкое, чужое, про выборы, про Думу, про то, что в стране всё хорошо. В кухне звенела посуда — кто-то ел. Но никто не пришёл. Никто не постучал в дверь. Никто не сказал: «Серёжа, вставай, завтрак на столе».

Его никто не будил, ни на завтрак, просто будто его вообще не было дома. Как будто вчерашний приезд — приснился. Как будто он не выходил из самолёта, не поднимался на четвёртый этаж, не ложился на покрывало. Как будто его комната — по-прежнему пустая, и кровать — по-прежнему ничья, и он — по-прежнему где-то там, далеко, за забором, в спецшколе, в другой жизни.

Он уже понял всё. Понял отношение. Понял, что жить дома ему точно не получится. Не потому что его выгонят — нет. Не выгонят. Просто не заметят. Будет он жить в этой квартире или не жить — для них одно и то же. Статус: сундук. Стоит — ну стоит. Нет его — ну нет. Разницы не заметишь.

Сергей сел на кровати. Покрывало скрипнуло под ним — синтетическое, скользкое, холодное. Ноги коснулись пола. Пол был ледяной — не зимний лёд, а просто — нежилой, неотапливаемый, пустой. Как вся эта квартира. Он сидел и смотрел на свои руки. Руки были худые, жилистые, с мозолями на костяшках — от турника, от драк, от работы. Четырнадцать лет, а руки — как у взрослого. Тело прожило больше, чем голова. Тело состарилось быстрее.

Он неспешно сходил в туалет, умылся. Умывался по привычке — долго, тщательно, как в спецшколе. Там умывание было ритуалом: утром холодная вода — в лицо, в глаза, чтобы проснуться, чтобы встать в строй и быть готовым. Здесь холодная вода — просто холодная вода. Но он умывался так же — тщательно, до красноты, до мурашек. Потом посмотрел на себя в зеркало. Зеркало было мутное, с пятном в углу. Из зеркала на него смотрел парень — худой, загорелый, с короткой стрижкой и глазами, которые знали слишком много для четырнадцати лет. Не взрослые — старые. Есть разница.

Оделся. Кроссовки — те же, казённые, серые. Футболка — короткая, натянул её специально. Специально — потому что на левой руке, между кистью и локтем, у него была татуировка. Сердце, пробитое стрелой, с надписью «Мария люби достойна». Наколка из спецшколы — первая, сделанная иглой и тушью, в общежитии, ночью, при свете фонаря через окно. Боль была адская, но он терпел. Терпел — потому что Марина стоила боли. Хотя он не знал, увидит ли её когда-нибудь. Но она ему была очень приятна к сердцу, и ради неё он сделал первую наколку. И сегодня хотел показать её дяде Саше. Похвастаться. Не наколкой — а тем, что за ней стоит. Тем, что он умеет чувствовать. Что он — живой.

Вскипятит чайник. Чайник был старый, эмалированный, с отколотой ручкой. Газовая плита щёлкала, чихала, и наконец загорелась — синим, нервным пламенем. Сергей стоял и смотрел на огонь. Огонь был живой — дрожал, плясал, грел. В квартире, где всё было мёртвое, огонь был единственным живым. Он налил чай — крепкий, без сахара, как вчера. Заварка была тёмная, почти чёрная, и он долил её до краёв кружки. Кружка была белая, с трещиной на ободке. Чай обжигал губы, и от этого обжигания было хорошо — потому что горячее — значит настоящее. Холодное — тоже настоящее. Тёплое — нет. Тёплое — это то, что притворяется.

Ему никто не сказал «доброе утро». Никто не сказал «привет» или «чем будешь заниматься». Мать прошла мимо кухни — в коридор, к ванной. Прошла — и не посмотрела. Как будто кухня была пустая. Как будто он — был пустой. Он допил чай, помыл кружку. Помыл — тщательно, с мылом, поставил на сушку. Аккуратно. Как в спецшколе учили: после себя — чисто. Не потому что чистота — а потому что порядок. Порядок — это контроль. Контроль — это выживание.

Но он решил просто: попьёт чая и пойдёт прогуляется по знакомым местам, может кого-нибудь встретит из старых знакомых. Намеревался, конечно, зайти к дяде Саше с тётей Надей, может увидит Валеру Курганского, дядю Самоху. С этими мыслями он попил чай, встал, помыл кружку, обулся, оделся.

— Пойду погуляю, — сказал он в коридор. В пустоту.

Никто не ответил. Он подождал три секунды. Тишина. Четыре. Пять.

— Закройте за мной дверь, — добавил. — Ключей у меня нет.

Из зала донёсся звук телевизора — чуть громче. Кто-то прибавил звук. Это был ответ. Не словами — действием. «Мы слышим. Нам всё равно. Иди».

Ключей у него своих не было, да и никто бы ему их не дал бы. Ключ — это доверие. Ключ — это «ты здесь живёшь». Ключ — это «ты вернёшься». Ему ключей не дали. Ему дали

«здравствуйте» и «чай будешь?». Этого хватило, чтобы понять: он здесь — гость. Нежеланный, но терпимый. Пока.

Сергей вышел. Дверь за ним закрылась — тяжело, железно, гулко. Щелчок замка. И всё. Он — снаружи. Они — внутри. И между ними — железная дверь, которая была всегда.

Глава 3. Город, который не изменился

Солнце хорошо по-летнему уже припекало. Начинался разгар лета — июнь, конец, когда сибирское солнце уже не шутит. Жара в Сургуте — не как на юге: здесь она мягкая, но приставучая, липнет к телу, и пот течёт не сильно, но постоянно. Воздух пах хвоей, болотом и бензином — сургутский коктейль. Сергей очень надеялся, что искупается этим летом. Река — Чёрная, недалеко, если пойти мимо гаражей и через кусты. Там пляж — дикий, без раздевалок, без спасателей, просто берег и вода. Вода тёмная, холодная, даже летом. Но — вода. Свобода. Можно зайти по пояс и стоять, и чувствовать, как течение забирает грязь — с кожи, с мыслей, с души. Он мечтал об этом в спецшколе. Стоять в реке и ни о чём не думать. Ну пока ничего нельзя было сказать Сергею наперёд. Лето — длинное только снаружи. Изнутри — оно может оказаться короче, чем кажется.

Сергей пошёл прогуляться по рынку. Рынок был старый, городской — ряды палаток, тентов, прилавков, накрытых плёнкой и презентом. Торговали всем: посудой, одеждой, магнитолами, сигаретами, овощами. Люди ходили медленно, приценивались, торговались. Запахи — густые, тяжёлые: жареные пирожки, дешёвый табак, спелые помидоры, резина. Сергей шёл между рядами и смотрел. Думал, может кого-нибудь встретит из ребят знакомых — кого-нибудь из двора, из тех, с кем когда-то бегал. Никого. Рынок был — чужой. Люди шли мимо, не глядя. Покупали, продавали, уходили. Все при деле. Все — где-то. Он — нигде.

На рынке была тишина да гладь. Не тишина звука — звуков было много: гудки, голоса, музыка из палатки. Тишина — человеческая. Никто не окликал, никто не махал рукой, никто не говорил: «О, Серый, ты вернулся?!». Рынок был как зеркальный коридор: люди отражались в нём и уходили, не задерживаясь. Он был невидим — как вчера в аэропорту, как сегодня утром на кухне. Невидимость — это не сверхспособность. Это диагноз.

Там, от удивления, Сергей шёл, прогуливаясь по рынку, и вдруг услышал резкий тормоз УАЗика. Его ни с чем нельзя было спутать. Этот звук — скрежет тормозов, визг резины по асфальту, потом — тишина и хлопок двери. УАЗик тормозит не как другие машины — он тормозит как человек, который спотыкается: резко, криво, с креном. Сергей обернулся.

— Эй, Пешков! — крикнул голос.

Сергей оглянулся. Из УАЗика вышли двое — оперативники. Он узнал их. Не по именам — по лицам. Эти лица он видел и раньше, до спецшколы. Они работали в районе — рейды, проверки, обходы. Они знали всех пацанов поимённо. Они знали Сергея.

— Здорово, — сказал один. Крупный, бритый, в кожаной куртке, хотя на улице жара.
— Ты чё, вернулся?

— Здравствуйте, — сказал Сергей. — Да, вот, вернулся.

— Как дела? — спросил второй. Поменьше, посуше, с усами. Смотрел цепко, оценивающе — не как человек, а как аппарат, который сканирует.

— Нормально, — сказал Сергей. Нормально — это универсальное слово. «Нормально» — значит «не yours». «Нормально» — значит «не трогайте». «Нормально» — значит «я здесь ненадолго».

— Давно приехал? — спросил первый.

— Да нет, вот позавчера.

Оперативники переглянулись. Сергей заметил этот взгляд — быстрый, короткий. Они были шокированы. Не тем, что он вернулся — а тем, что вернулся так быстро. Три месяца. Выехал из спецшколы — и уже здесь. Для них это означало одно: trouble. Пацан, который вернулся через три месяца — это пацан, который снова в игре. Снова на их территории. Снова — их головная боль.

— Надолго в городе? — спросил первый.

Сергей помолчал. Посмотрел на УАЗик — серый, помятый, с грязными стёклами. Потом посмотрел на оперативников.

— Да нет, наверное уеду из города, — сказал он.

Он сказал это спокойно, без вызова, без бравлады. Просто — факт. Может, и правда уедет. Может — нет. Но им незачем знать. Чем меньше знают — тем меньше лезут.

— Ну, ну, — сказал первый. — Смотри, Пешков. Мы за тобой следим.

— Я знаю, — сказал Сергей.

Оперативники сели в машину. Дверь хлопнула. УАЗик дернулся, завёлся — с рёвом, с дымом — и поехал дальше, вглубь рынка, к следующим пацанам, к следующим лицам, к следующей работе.

Сергей стоял и смотрел им вслед. Руки были спокойны. Пульс — ровный. Он привык к тому, что за ним следят. В спецшколе следили воспитатели, здесь — менты. Разница — в форме. Суть — одна. Ты — объект. Не человек — объект. За объектом следят. Объект не живёт — объект наблюдается.

Сергей пошёл дальше. Прогулялся ещё по центру города. Центр был маленький — пару улиц, площадь, памятник, дом культуры. Всё было так же, ничего не изменилось. Ничего не благоустроилось, не стало обширнее или красочнее. Тот же асфальт с трещинами, те же фонари с разбитыми стёклами, те же магазины с пустыми витринами. 99-й год — страна на дне. Кризис, дефолт, безработица. Люди — серые, злые, уставшие. Город — как человек, который давно не спал: стоит, но еле держится.

И он потихоньку, как-то ноги его сами привели к дому дяди Саши с тётки Нади. Ноги знали — шли без головы. Мимо рынка, через двор, за угол, по тропинке между гаражами и забором. Тропинка была та же — протоптанная, узкая, с травой по краям. Он шёл по ней — и с каждым шагом что-то отпускало. Не сильно. Не до конца. Но — отпускало. Ноги знали куда идти. Может, голова не знала — но ноги знали.

Тот самый полу-садовый дом. Одноэтажный, обшитый тёсом, покрашенный когда-то в зелёный, но краска облупилась и облезла, и дом стал серо-зелёный, как солдат после марша. Перед домом — палисадник. Цветочки — тётка Надя всегда за ними ухаживала. Ноготки, бархатцы, астры — простые, сибирские, неприхотливые. Они росли криво, клонились к солнцу, но — цвели. Цвели, несмотря ни на что. Как тётка Надя. Он зашёл в подъезд, с облупившейся краской, поднялся по ступенькам — они жили на первом этаже. Ступеньки были деревянные, скрипучие, и каждая скрипела по-своему — басом, тенором, сопрано. Он запомнил этот хор с детства. Постучал в дверь.

За дверью слышались какие-то шорохи. Шлёпанье тапок по полу. И играла музыка — медленно, негромко. Он прислушался. Гитара. Кто-то играл на гитаре — несложно, неспешно, перебором. Мелодия была знакомая — старая, дворовая. Что-то про вертушку, про зону, про письма. Дядя Саша. Это дядя Саша играл. Он всегда играл, когда был дома — сидел на кухне или в зале, с гитарой, и перебирал струны, и пел тихо, себе под нос, для себя. Не для публики — для души.

Дверь открылась. И на пороге стояла тётка Надя.

Глава 4. Там, где ждали

Тётка Надя была маленькая, полненькая, с круглым лицом и быстрыми глазами. Волосы — крашенные, рыжие, собраны на затылке. Фартук — цветастый, в пятнах от муки. Она, видимо, готовила. Она всегда готовила — для всех, для каждого, для случая и без случая. Её кухня никогда не пустовала.

Она открыла дверь — и замерла. Секунда. Две. Глаза расширились. Рот приоткрылся. И потом — улыбка. Медленная, широкая, яркая, как будто солнце вышло из-за тучи. Глаза заблестели — мгновенно, одним махом, как после дождя.

— Серёжа! — выдохнула она. — Серёжа! Боже мой!

Она схватила его за плечи — двумя руками, крепко, как будто боялась, что он исчезнет. Как будто он — мираж, и если отпустить — растает. Она смотрела ему в лицо — снизу вверх, потому что он вырос, стал выше её — и в глазах её было всё: и радость, и боль, и жалость, и удивление, и любовь. Настоящая. Не показная — та, которую не скроешь, потому что она больше тебя.

Сергею так обожгло этой улыбкой, этим взглядом, блестящим душу, что не описать никакими словами, как это было приятно. Он ожидал этого — от других людей. От матери, от отца. От них — не дождался. А здесь — дверь открылась, и вот оно. Вот оно — то, ради чего стоило вернуться. Не дом, не квартира, не кухня. Лицо. Человеческое лицо, которое радуется тебе.

Не «здравствуйте», не «чай будешь». А «Серёжа!», и в этом «Серёжа» — всё. Имя. Его имя. Произнесённое с теплом. Произнесённое так, как произносят имя того, кого ждали.

И он хотя ожидал это от других людей увидеть — в оконцовке он не ошибся, и ноги правильно его привели. Здесь его ждали. Здесь на самом деле он был желанным. Здесь — не сундук. Здесь — Серёжа.

— Заходи, заходи, заходи! — заговорила тётя Надя, таща его за руку в коридор. — Боже, какой ты стал! Вытянулся-то! Худой какой... Господи, Серёжа, ты ел там вообще?

— Ел, тёть Надь, ел, — сказал Сергей и улыбнулся. Первый раз за два дня. Первый раз — настоящей улыбкой, не натянутой, не казённой. Улыбкой, которая шла изнутри, из тёплого места, которое он думал, уже высохло.

— Саша! Саша, иди сюда! — крикнула тётя Надя в глубь квартиры. — Саша, посмотри, кто пришёл!

Дядя Саша вышел из зала. Дядя Саша был крупный, широкоплечий, с бородой — не очень длинной, но густой, русой с проседью. В руках — гитара, старая, потёртая, с облупленным грифом. Он поставил гитару к стене, подошёл, посмотрел на Сергея — долго, внимательно. Потом — улыбнулся. Не как тётя Надя, бурно. Тихо, сдержанно, по-мужски. Но улыбка была — настоящая.

— Ну, здравствуй, бродяга, — сказал дядя Саша. — С возвращением. С первым сроком.

Он протянул руку. Сергей пожал — крепко, как учили. Рукопожатие дяди Саши было тяжёлое, надёжное. Рука — жёсткая, мозолистая. Не рука, а скоба. Но в этой жёсткости — тепло. Не показное, не «я тебя обниму и расплачусь». Другое — «я тебя вижу, ты здесь, это хорошо».

— Здравствуйте, дядь Саш, — сказал Сергей.

— Ну, здравствуй, — повторил дядя Саша. — Ну что, как оно там? Как вышло?

— Вышло, — сказал Сергей. Коротко. Он не хотел рассказывать. Не сейчас. Может — потом. Может — никогда. Некоторые вещи нельзя рассказать за чашкой чая. Некоторые вещи — только в книге. Или — никому.

— Ну и ладно, — понял дядя Саша. Не стал тянуть. — Ну и ладно. Главное — вышел. Живой — уже хорошо.

Тётя Надя уже металась по кухне — доставала тарелки, нарезала хлеб, доставала из холодильника. Она двигалась быстро, по-хозяйски, и при этом не переставала говорить:

— Садись, садись, Серёжа! Сейчас поешь нормально, а то тощий как... Саша, поставь чайник! Нет, я сама поставлю. Ты садись! Вот тут, к окну. Тут светлее. Саша, ну чё ты стоишь? Серёжа пришёл! Ну?

Дядя Саша сел напротив. Посмотрел на Сергея — и вдруг заметил. Сергей специально одел короткую футболку, чтобы похвастаться. Дядя Саша прищурился, наклонил голову — и усмехнулся.

— А это чё? — спросил он, указав на левую руку Сергея.

На левой руке, между кистью и локтем, была сделана в спецшколе первая татуировка — сердце, пробитое стрелой, с надписью «Мария люби достойна». Наколка была свежая — ещё розоватая по краям, с пупырышками, как от ожога. Игла и тушь — вот и весь инструмент. Боль — вот и весь анестезик.

— Ого! — дядя Саша присмотрелся ближе. — Сердце... Мария... Ну-ну. Это кто ж тебя так разукрасила?

Сергей засмутился, но виду не подал. Поднял руку, повернул — чтобы лучше видно было.

— Марина, — сказал он. — Мария — это она. Я... Ну, в общем, влюбился.

— Влюбился, — повторил дядя Саша. И посмотрел на Сергея — уже по-другому. Не как взрослый на ребёнка. А как человек, который понимает. — И наконку ради неё сделал?

— Ага, — кивнул Сергей.

— Ну, — дядя Саша покачал головой. — Ну, любовь. Это серьёзно. Мария люби достойна... Достойно написано. Грамотно.

— Дядь Сашь! — тётя Надя окликнула из кухни. — Хватит! Хватит делать из него уголовника! Он ребёнок ещё! Серёжа, не слушай его! Он тебя в гроб загонит своими разговорами!

— Тётъ Надь, я уже не ребёнок, — сказал Сергей тихо.

— Ты — ребёнок, — тётя Надя появилась с тарелкой и поставила перед ним — полную, с горкой. Картошка, котлета, солёные огурцы, хлеб. — И ешь. Всё.

Сергей смотрел на тарелку. Полная. С горкой. Для него. Не «чай будешь?» — а «ешь». Не «налейте ему заварки как всем» — а «ешь, ты худой, ешь». И от этой тарелки — от картошки, от котлеты, от того, как она была поставлена — не брошена, а поставлена, аккуратно, с салфеткой — у него защипало в глазах. Он моргнул. Раз. Два. Не заплакал. Не умеет. Четыре года спецшколы — не научили плакать. Научили — молчать. Но — щипало.

Он ел. Ел медленно, тщательно, как в спецшколе — не торопясь, потому что торопиться нельзя, потому что от голодной скорости болит живот. Но ел — с удовольствием. С вкусом. Картошка была горячая, рассыпчатая, с маслом. Котлета — домашняя, сочная, с хрустящей корочкой. Огурцы — солёные, кислые, с укропом. Он ел и чувствовал — еду. Не баланду, не кашу, не хлеб с маргарином. Еду, которую приготовили для него. Потому что хотели. Потому что рады. Потому что — ждали.

Тётя Надя села рядом, смотрела, как он ест, и подкладывала — ещё, ещё, бери, не стесняйся. Дядя Саша сидел напротив, курил, смотрел в окно, и иногда кидал короткое слово — не вопрос, а так, между делом. Чтобы заполнить тишину. Чтобы Сергей не чувствовал, что его изучают.

Сергей рассказал, как его встретили дома. Что никак его не встретили. Холодно-пусто. «Здравствуйте» от отца. «Чай будешь?» от матери. Братья пробежали мимо. Коврик новый в коридоре. Телевизор новый. А он — старый. Тётя Надя слушала — и лицо её менялось. Улыбка ушла, губы сжались, глаза заблестели — по-другому, не от радости, а от боли. Чужой боли, которую она чувствовала как свою.

— Серёжа, — сказала она тихо. — Серёжа, родной мой...

Она не договорила. Смахнула слезу — быстро, одним движением, как будто боялась, что он заметит. Он заметил. Она обняла его — прямо за столом, прямо с куском хлеба в руке, обняла — и прижала к себе. Маленькая, тёплая, пахнущая мукой и кухней. Она обнимала его — и он не отстранялся. Не мог. Не хотел. Впервые за два дня — кто-то тронул его не равнодушно, а тепло. Она будто чувствовала, как ему больно, как ему тяжело. И обнимала — не чтобы жалеть, а чтобы держать. Чтобы он знал, что есть руки, которые держат.

Дядя Саша встал, подошёл, положил руку на плечо Сергея — тяжёлую, как кувалда, но мягко.

— Не переживай, — сказал он. — Прорвёмся.

Три слова. Три простых, дядь-Сашинских слова. Не «всё будет хорошо» — потому что дядя Саша не врал. Не «они тебя любят» — потому что это неправда. Просто — «прорвёмся». Мы. Вместе. Не «ты» — а «мы». В этом «мы» — всё.

Сергею было тепло. Приятно. И больно одновременно. Тепло — потому что здесь его любили. Больно — потому что он знал: это не его семья. Это — чужая. Тёплая, добрая, настоящая — но чужая. Он не мог забрать чужое. Не имел права. Но — мог приходить. Мог сидеть за этим столом. Мог есть эту картошку. Мог слышать «Серёжа» — из уст, которые произносили его с теплом. И он всю жизнь будет благодарен дяде Саше и тёте Наде. За это. За «прорвёмся». За слезу, смахнутую быстро. За тарелку, поставленную с горкой.

И он всё больше удивлялся. Удивлялся тому, что на самом деле люди, которые отбывали в местах заключения и живут в местах заключения, у них намного больше душевного сочувствия и понимания людских душ, чем те, кто никогда не сидел. Потому что они видели эту жизнь не через розовые очки, а с открытыми глазами. Они видели ту обратную сторону медали, которую обычные люди не хотят замечать. А если и хотят заметить — чиновники отмахиваются и говорят народу, что этого нету. Что всё хорошо. Что дети не страдают. Что система работает. Что заборы — для блага. А за заборами — другое. И то, кто там был — знает. И кто там был — становится добрее. Не слабее — добрее. Потому что боль делает людей двумя вещами: либо злыми, либо добрыми. Злые — ломают других. Добрые — держат.

Сергей уже в те годы всё это понимал. Четырнадцать лет. И это было больно. Что ребёнок четырнадцати лет так смотрит на мир. Не как ребёнок — как взрослый. Не потому что вырос — потому что сломался. Раньше времени. Как дерево, которое гнёт ветер, и оно гнётся — но

гнётся в одну сторону, в сторону взрослых мыслей, в сторону взрослых выводов, в сторону — взрослой боли.

Дядя Саша закурил, затянулся, выпустил дым в форточку. Потом сказал:

— Ладно. Курганский уехал. Валера — в Курган. У него мать захворала, поехал к ней. Давно не звонил, может, скоро объявится.

— А Самоха? — спросил Сергей.

Дядя Саша помолчал. Затянулся. Посмотрел на тётю Надю. Тётя Надя отвернулась к плите — будто что-то проверяла.

— Самоха сел, — сказал дядя Саша. — Под следствием сидит.

— За что? — спросил Сергей.

— Да... — дядя Саша махнул рукой. — Ерунда. Разберутся. Но пока сидит.

Сергей кивнул. Не спросил больше. Он знал, что такое «под следствием». Это — ожидание. Хуже приговора. Приговор — это точка. А следствие — это запятая. Ты ждёшь, не зная, когда кончится. И от этого — с ума можно сойти.

Сергей ещё не знал, что скоро они встретятся по ту сторону забора. Что Сергей сам переступит порог камеры, в которой сидит дядя Саша. Что — дядя Саша тоже сядет. Что лето, которое только началось, кончится раньше, чем он успеет искупаться в реке. Что свободы — три месяца. Что впереди — этап через пол-России, новая колония, новые стены, новые лица. Но это всё впереди. Сергей не знал ещё, чем всё обернётся. И хорошо, что не знал. Знание — груз. А он и так нёс слишком много для четырнадцати лет.

Он просто хотел жить. Сейчас ему было тепло, уютно. Его никто не выгонял. Ну, Сергей сам казался, что не будет обузой, он мог пожить день-два у тёти Нади с дядей Сашей. Но он всё равно себя чувствовал, что он обуза. Не будет им мешаться — зачем? Зачем мешать людям, которым и так тяжело? У них своя жизнь, своя кухня, свои проблемы. Он — лишний. Здесь — не лишний. Но — временный. А временно — это не навсегда. И «не навсегда» — это то, что он знал с детства.

Но ему было приятно — хоть на этот короткий миг побыть желанным, любимым. За кого переживают: «Как я там? Чё я?». Не «здравствуйте» и «чао». А — «Серёжа! Боже мой! Саша, иди сюда!». Вот это — было. И это — бесценно.

Сергей так просидел до вечера в гостях у дяди Саши с тётёй Надей. Пили чай — крепкий, без сахара, как он любил. Тётя Надя доставала варенье — клубничное, домашнее. Дядя Саша достал гитару, перебирал струны, пел тихо. Сергей слушал. Музыка лилась по кухне — медленная, грустная, дворовая. Про вертушку, про письма, про дом. Про то, что где-то кто-то ждёт. И Сергей думал: вот так и должно быть. Чай, гитара, кухня, тётя Надя у плиты, дядя Саша с сигаретой у форточки. Вот так — семья. Не та, что по крови — та, что по сердцу.

Потом решил, что ему всё-таки надо идти домой. Пока ещё есть крыша над головой, надо за неё поддержаться. Покуда уж не стало чрезмерно тошно от этой пустоты. Пока не выгоняют — надо поддержаться. Потому что если не держаться — сорвёшься. А сорваться — значит уйти на улицу. А улица — это... Он знал, что такое улица. Улица — это зима без шапки, лето без дома, всегда — без имени.

Дядя Саша с тётей Надей — это всё равно своя семья. Это не Сергея. Сергей встал, попрощался.

— Я ещё зайду, — сказал он. — Обязательно зайду.

— Конечно, зайдёшь! — тётя Надя прижала его к себе. — Ты приходи, Серёжа. Дверь всегда открыта. Ты знаешь.

— Знаю, тёть Надь. Знаю.

— И ешь нормально! — крикнула она ему вслед.

— Буду, — сказал он и улыбнулся. Второй раз за два дня.

Обулся, вышел за дверь. Ещё раз попрощался с тётей Надей. Она помахала ему в окошко — стояла за стеклом, маленькая, рыжая, с фартуком, и махала, и махала, пока он не свернул за угол. Он шёл и чувствовал на спине её взгляд — тёплый, мокрый, как ладонь. И шёл медленнее, чтобы продлить.

Сергей пошёл медленным, не торопясь шагом к дому. Размышляя и думая о жизни. Думая, как всё повернётся в жизни. Когда у Сергея всё начнётся хорошо. Когда наступит белая полоса в его жизни. Когда — «здравствуйте» заменится на «сынок». Когда — кто-то будет ждать у двери. Когда — тарелка будет стоять не «как всем», а — для него. Когда — «прорвёмся» не нужно будет говорить, потому что и так всё будет хорошо.

С этими мыслями он потихоньку дошёл до дома. Поднялся, зашёл в квартиру — как в пустоту. Умылся молча. Поужинал — молча, не глядя ни на кого. Пришёл в комнату и лёг спать. Ни о чём не думая — просто хотел отдохнуть, уснуть. Уснуть — чтобы завтра. Завтра — может, будет лучше. Завтра — может, будет белая полоса. Завтра.

Он мечтал. Мечтал, что будет богатый, что всё у него будет удачно. Что когда-нибудь он украдёт свой миллион. Не из жадности — из злости. Из той злости, которая не ломает, а двигает. Из той злости, которая говорит: «Вы меня не хотите? Ну и ладно. Я сам вас всех куплю». Он мечтал — и эти мечты были наивные, детские, глупые. Но — его. Его мечты. Единственное, что никто не мог забрать. Ни мать, ни отец, ни спецшкола, ни колония. Мечты — не конфискуются. Мечты — за забор не забирают. Мечты — на цепь не сажают. Мечты — его.

И с этими мечтами он уснул. Отвернувшись к стене. К обоям с цветочками. И

Глава 5. Бетонная плита

Сергей уже несколько дней жил дома после того, как приехал. И с каждым днём ему становилось всё тяжелее. Не физически — нет. Физически он был здоров, сил хватало. Тяжело было внутри. Будто на него давила бетонная плита — прямо на грудь, на рёбра, на дыхание. Плита была невидимая, но вес — настоящий. Он чувствовал его каждое утро, когда открывал глаза: давит. Каждый вечер, когда ложился: давит. За завтраком, когда мать не смотрела. За ужином, когда отец молчал. В коридоре, когда проходил мимо братьев. В комнате, когда лежал и смотрел в стену. Давит. Давит. Давит.

Непосильно. Невыносимо. Он не мог дышать дома. Воздух в квартире был плотный, тяжёлый, как вата. Воздух должен быть лёгким — а здесь он давил. Не от жары — от присутствия. От того, что каждый вдох в этом доме был лишним. Он дышал — и занимал место. Место, которое, как ему давали понять, ему не принадлежало.

Косые взгляды — нет, не косые. Хуже. Никто на него не смотрел косо. Никто не косился. Просто — не смотрели. Мать проходила мимо, и взгляд скользил по нему, как по стене. Отец сидел за столом, и глаза были направлены куда-то мимо — в тарелку, в телевизор, в окно. Мимо. Братья пробегали, и он был для них — мебель. Стул. Табуретка. Стоит — ну стоит. Нет его — ну нет.

Он понимал. Понимал, что они не скажут в открытую: «Уходи». Не скажут, потому что нельзя — он же сын, он же брат, он же родной. Но он чувствовал: они хотели бы. Каждым молчанием, каждым «чай будешь?», каждым поворотом спиной — они говорили: «Ты здесь не нужен». И он слышал. Громче, чем если бы крикнули.

Очередной раз он пошёл гулять по городу. Вышел из подъезда — и плита чуть отступила. На улице воздух был другой — лёгкий, движущийся, с ветром. Можно было дышать. Он шёл и дышал — глубоко, жадно, как после нырка.

Но деньги. У него не было ни копейки. Совсем. Ни на сигареты, ни на пиво, ни на билет — ни на что. В спецшколе деньги не нужны были: кормили, одевали, содержали. Здесь — свобода, и свобода стоила денег. Свобода без денег — это не свобода. Это — улица. А улица — это зима без шапки, лето без дома, всегда — без имени.

Ему нужно было что-то придумать. И мысль пришла сама собой — не как идея, а как факт. Просто — всплыла. Надо кого-нибудь поймать, отобрать деньги, чтоб у него были карманные расходы. Мысль пришла спокойно, без страха, без сомнения. Как будто он давно знал, что к этому придёт. Как будто это было — не решение, а признание. Да, так. Да, придётся. Да, по-другому — не выйдет.

Он гулял по рынку. Смотрел. Приглядывался. Не торопясь, без суеты — как на охоте. Рынок был полон людей: торговали, покупали, спорили, смеялись. Но не всех можно было грабить. Это Сергей знал. Не всех подряд. У людей, которые терпили, у них как будто отпечаток на лице. Не всегда заметный — но есть. Что-то в глазах, в плечах, в том, как человек идёт. Терпила идёт — и как будто извиняется. За то, что идёт. За то, что занимает место. За то, что живёт. Он идёт и ждёт — не осознанно, не нарочно — но ждёт, что ему скажут: «Куда лезешь?». И когда ему скажут — он не удивится. Потому что он ждал. Всегда ждал.

Не всех подряд можно грабить, а тех, по которым на самом деле видно, что он потерпевший. Сергей это тоже мог уже определять по людям, глядя только на их внешний вид, на лицо.

Это был навык — не из спецшколы, нет. Из двора. Из детства. Когда ты маленький и живёшь во дворе, где сильный бьёт слабого, ты учишься быстро: кто даст сдачи, а кто — нет. Кто терпит, а кто — побежит жаловаться. Кто — терпила, а кто — нет. Это не наука — это инстинкт. И Сергей его имел. Уже по человеку понятно: терпила он или нет. По походке, по взгляду, по тому, как он держит сумку — прижав к себе или болтая. По тому, как он оборачивается — резко, с вызовом, или медленно, с опаской. Терпила оборачивается медленно. Нетерпила — не оборачивается вообще.

Рынок — пусто. Не людей — людей было много. Пусто — по части терпил. Все, кто попадались, были либо крепкие, либо шумные, либо в группе. Ни одного — одного, робкого, прижимающего сумку. Рынок не дал.

Сергей пошёл в центр. Центр был — пара улиц, площадь, магазин «Под Мостом», переход. Люди шли — мимо, мимо, мимо. Сергей шёл и смотрел. И вдруг — попался. Сладенький.

Мальчишка. Одного возраста примерно, может чуть помладше. Худой, в светлой куртке, с пакетом — шёл от магазина. Шёл быстро, но не уверенно — быстро от страха, не от уверенности. Плечи — внутрь. Голова — вниз. Пакет — прижат к животу. Терпила. Классический. Сергей видел это как яркий свет — как будто парень светился: «Я — жертва. Возьми меня».

Сергей подошёл. Быстро, тихо, сзади. Положил руку на плечо — не сильно, но ощутимо. Мальчишка вздрогнул — всем телом, как от удара током.

— Стоять, — сказал Сергей. Голос был ровный, спокойный. Не злой — деловой. Как в спецшколе говорили: без эмоций. Эмоция — это слабость. Дело — это сила.

Мальчишка остановился. Повернул голову — медленно, с опаской. Глаза — большие, испуганные. Губы — приоткрыты, как будто хотел что-то сказать, но забыл что.

— Чё? — спросил Сергей. — Как тебя зовут?

— В-Вася, — выдавил мальчишка. Голос был тонкий, дрожащий. Как струна, которую дёргают.

— Вася, — повторил Сергей. Не издеваясь. Просто — запоминая. Имя — это власть. Когда ты знаешь имя, ты уже — старше. Уже — сильнее. — Вася. Ну, здравствуй, Вася.

— З-здравствуйте...

— Здравствуйте — это хорошо. Вежливый. — Сергей посмотрел ему в глаза. Прямо, не мигая. В спецшколе научили: смотри в глаза. Не отводи. Кто отводит — тот слабый. — Деньги есть?

Вася мялся. Переступил с ноги на ногу. Пакет прижал крепче.

— Н-нету, — сказал он. — Нету денег.

Сергей не торопился. Стоял, смотрел. Ждал. Молчание — оружие. Тишина давит. Тишина — это когда человек сам себя накручивает, сам решает сдаться, потому что тишина страшнее слов.

— Нету, значит, — сказал Сергей. Спокойно. — Ладно. А если найду — что тогда?

Вася побледнел. Не побелел — побледнел. Как будто из него вылили кровь. Лицо стало серым, прозрачным.

— А если найду, — продолжил Сергей, — то разобью тебе всю морду.

Он сказал это без угрозы, без крика. Тихо, буднично, как прогноз погоды. Завтра — дождь. Послезавтра — мордобой. Это — не эмоция. Это — расписание.

Вася мялся, не знал, что делать. Стоял, переминался, смотрел в асфальт. Пакет дрожал в его руках — мелко, часто, как лист на ветру. В оконцовке он сказал:

— Да... есть деньги.

— Сколько? — спросил Сергей.

— Не знаю... Родители послали за продуктами. На молоко, на хлеб...

— Давай гони всё сюда, — сказал Сергей. Не грубо. Ровно. Как будто просил прикурить.

Вася полез в карман — медленно, трясущимися руками. Достал мятые купюры — мелкие, сто-, двухсотрублёвые. Протянул Сергею. Руки дрожали. Сергей взял. Пересчитал — быстро, не показывая, что считает. Сколько было — уж он точно не помнил. Но хватило. Хватило на несколько пачек сигарет, на бутылку пива — и не одну.

Сергей спрятал деньги в карман. Посмотрел на Васю. Вася стоял — маленький, серый, дрожащий. Пакет прижат к груди. Ждал. Ждал, когда можно будет уйти. Ждал разрешения.

Сергей наклонился к нему — близко, вплотную. Почувствовал запах — дешёвый одеколон, пот, страх. Страх пахнет. Это Сергей знал. Страх — кислый, резкий, как несвежий хлеб.

— Слушай, Вася, — сказал Сергей тихо, глядя в глаза. — Ты меня знаешь?

— Н-нет...

— Я — Пешков. Сергей Пешков. Запомни. Если ты пойдёшь в милицию — я тебя найду. И убью. Понял?

Вася кивнул. Быстро, мелко, как собачка, которую дрессируют.

— Повтори, — сказал Сергей.

— Я... понял. Я не пойду.

— Не пойдёшь — правильно. Умный мальчик. Иди, Вася. Иди домой. И забудь.

Вася развернулся — быстро, судорожно — и пошёл. Почти побежал. Не оглядываясь. Ноги — мелкие, торопливые. Пакет — прижат к груди. Сергей смотрел ему вслед и чувствовал — ничего. Ни жалости, ни злости, ни радости. Ничего. Пусто. Как в том доме, где «здравствуйте» и «чай будешь?». Он сделал то, что сделал, и пошёл дальше. Вася исчез — как мираж, как лицо в толпе, как человек, которого ограбили и который побежал домой, и который — да, не пойдёт в милицию. Потому что поверил. Потому что страшно. Потому что Сергей сказал — и Сергей сделает. Так думал Вася. И так думал Сергей. Слова, которыми потерпевшему на самом деле внушили доверие. Не угрозой — тоном. Не силой — спокойствием. Спокойный страшнее злого. Злой — может остыть. Спокойный — уже холодный.

Сергей не знал ещё, чем всё это обернётся. Что это уже не школьная может быть шалость. Что Вася — не мираж. Что имя и лицо — запомнят. Что это — не первый шаг, а первый камень. И камни — складываются в стену. И стена — растёт. И скоро — за стеной окажется он сам.

Но тогда Сергею было всё равно. Ему нужны были деньги на карманные расходы. И это — один из самых удобных, быстрых вариантов. Не работа — работа где найдёшь в 99-м, в городе, где заводы закрываются? Не просить — просить у кого? У матери, которая не смотрит? У отца, который «здравствуйте»? Нет. Грабить. Быстро, просто, понятно. Берёшь — и уходишь. Никаких объяснений. Никаких «пожалуйста» и «спасибо». Просто — берёшь.

Сергей купил сигареты. Купил себе зажигалку — простую, пластиковую, прозрачную. Первая затяжка — и лёгкие наполнились дымом, горьким, тёплым, родным. В спецшколе курили — но сигареты были чужие, краденые, мятые, мокрые. Здесь — своя пачка, своя зажигалка, свой дым. Свобода — пахла табаком и жжёной пластмассой. Он затянулся ещё раз, и ещё, и шёл, и курил, и впервые за несколько дней — дышал.

Глава 6. Парк у реки

Сергей гулял так же по городу, может ещё кого-нибудь поймает из терпил, но никого больше не встретил. Город как будто выветрился — все терпилы попрятались, как тараканы, когда свет включили. Или просто — день был такой, или просто — одного хватило. Одного — на сигареты, на пиво, на первый вздох свободы. Второго — не надо. Пока.

Пошёл гулять в парк. В Сургуте есть парк — старый, запущенный, с аллеями, с деревьями, с лавочками, у которых ножки проросли в землю. Сразу за парком — пляж. Река Пасол, которая протекает в городе. Река — не широкая, не глубокая, вода тёмная, как чай, и пахнет болотом. Но — река. Живая. Течёт. И на пляже — песок, галька, мусор, бычки, бутылки. Настоящий сибирский пляж — не курорт, а место, где моются и пьют.

В парке обычно собирались летом — там, где были машинки магнитные, на которых катались. Детские машинки, маленькие, железные, с проводами, тянущимися к потолку. Днём — дети, с родителями. Вечером — раздвигали машинки по сторонам, за сеткой была дискотека, и там частенько собиралась молодёжь компаниями. Музыка — из колонок, старых, хриплых, которые басом дребезжали, и стены парка дрожали, и окна соседних домов — тоже. Танцы

— не бальные. Просто — прыгали, толкались, смеялись. Кто-то пил пиво. Кто-то курил. Кто-то целовался за углом. Жизнь — простая, молодая, сибирская.

Сергей тоже пошёл посмотреть, может быть кого-нибудь встретит из своих знакомых. Взял пиво «Балтику тройку» — в пластике, холодную, с каплями на бутылке. Нашёл лавочку — в стороне, в тени, под деревом. Сел. Открутил крышку. Глотнул. Пиво было горькое, холодное, с привкусом железа. Но — пиво. Свой. Купленный. Не украденный, не выпрошенный — купленный. На свои. Ну, на свои — это громко сказано. На Васины. Но Вася уже не считал. Вася был — далеко, дома, дрожащий, забытый. А пиво — здесь, в руке, холодное, настоящее.

Медленно, не торопясь пил пиво. Растягивал удовольствие. Курил сигареты — одну за другой, нечасто, с паузами. Смотрел. Как солнце садится за деревья, как тени удлиняются, как парк наполняется — людьми, голосами, смехом. Жизнь шла — мимо него, вокруг него, без него. Он сидел на лавочке, и жизнь текла, как река — огибала его, обтекала, не задевая. Он был — камень в реке. Вода бежит — камень стоит.

И в оконцовке увидел компании. Даже показались ему знакомые голоса — чей-то смех, чей-то оклик, чей-то мат. Голоса — как отпечатки пальцев: каждый свой. Он прислушался. Да. Знакомые. И на самом деле в этих компаниях некоторых мальчишек он знал. Знал Дениса — тот был где-то ровесником Сергея, может чуть постарше. И пару девчонок — по лицам, по именам, по дворам.

Денис стоял в центре компании — как всегда. В центре — потому что умел. Умел быть в центре, умел говорить громко, умел смеяться так, чтобы все слышали. Денис был — выскочка. Высокий, blond, в новых шмотках, с голливудской улыбкой и манерами, которые раздражали. Он был высокомерный — не злой, нет. Высокомерный. Смотрел на людей — как из окна второго этажа. Сверху. Чуть свысока. Не потому что лучше — а потому что богаче. И знал это. И хотел, чтобы другие знали.

Сергей подошёл. Не сразу — постоял, посмотрел, прислушался. Потом — шагнул.

— Здорово, — сказал он.

— О! — Денис обернулся. — Это кто? Серый?! Ты чё, откуда?

— Да так, — сказал Сергей. — Вернулся. Давно не виделись.

— Во! Ну здорово! А мы слышали, что тебя...

— Отдыхал, — перебил Сергей. Коротко. — На курорте был. Закрытого типа.

— На курорте? — Денис засмеялся. — На курорте он был! Ну и как курорт?

— Нормально, — сказал Сергей. — Питание, проживание, всё включено. Как в Турции. Только забор повыше.

Девчонки засмеялись. Денис — тоже, но не сильно. Он посмотрел на Сергея — оценивающе, скользнул взглядом по кроссовкам казённым, по футболке короткой. Сергей заметил этот взгляд — и запомнил. Денис смотрел на одежду, как на цену. Человек — это сколько

на нём надето. Если мало — мало стоит. Если много — много. Сергей стоил мало. Денис — много. И оба это знали.

— Ну, — Денис хлопнул Сергея по плечу — легко, небрежно, как хлопают по плечу того, кого не боятся. — Рад, что вернулся. С возвращением, типа.

— Ага, — сказал Сергей. — Спасибо.

Он не стал им рассказывать, что был там в спецшколе закрытого типа. Так — отдыхал на курорте. И всё. Враньё — но удобное. Все довольны: они — не знают, он — не объясняет. Правда — тяжёлая. Враньё — лёгкое. В компании — нужно лёгкое.

Сергей достал сигареты. Закурил. Денис тоже достал — свои. Сигареты Дениса были дорогие — в красивой пачке, с фильтром, импортные. Сергей — свои. Дешёвые. Но — свои. Он не просил у Дениса. Не будет. Не из гордости — из принципа. Брать — можно. Просить — нельзя. Просить — это унижаться. Брать — это брать.

Денис раздражал. Раздражал — сильно, постоянно, как комар, который звенит над ухом. Не тем, что он был — а тем, как он себя вёл. Постоянно бахвалился, хвастался перед девчонками:

— Вон, смотри, куртка новая. Мать с Москвы привезла. Не найдёшь такую здесь.

— А вот эти кроссовки — «Адидас», настоящие. Не подделка. Триста баксов.

— А мать мне ещё часы обещала. «Касио». Японские. На руке — как у Шварценеггера.

Он говорил это — громко, так, чтобы все слышали. Чтобы все знали. Чтобы девчонки смотрели. И девчонки смотрели. И Денис жил в этих взглядах — как рыба в воде. Ему нужен был зритель. Без зрителя он — никто. С зрителем — звезда.

Мать его одна воспитывала. Отца не было — ушёл, или не было никогда, Сергей не знал. Мать была коммерсанткой — в 99-м это слово звучало гордо. Коммерсант — значит, умеет зарабатывать. Значит, выживает. И за этого она мать ему давала всё, что он захотел. Всё — потому что могла. И потому что чувствовала вину — за то, что отец ушёл, за то, что она одна, за то, что мальчику не хватает мужского. И заливала вину — вещами. Куртками, кроссовками, часами. Заливала — как заливают яму бетоном. Яма — остаётся. Бетон — сверху. Красиво. Но — пусто.

Сергей слушал Дениса и молчал. Молчал и запоминал. Запоминал — не слова, а тон. Тон — вот этот, сверху вниз. Вот этот, «я — лучше». Вот этот, «у меня — есть, у тебя — нет». Сергей запоминал — потому что знал: это пригодится. Не сегодня — потом. Когда-нибудь. Этот тон — это вызов. А на вызов — отвечают. Не словами — делом.

Ну, Сергей так прогулял с ними до самого позднего вечера. Пил пиво, курил, слушал, молчал. Иногда шутил — коротко, сухо, и ребята смеялись. Иногда — молчал, и тогда молчание было как стена: все знали, что он здесь, но не лезли. Он был — свой, но не совсем. Был — но не полностью. Четыре года отсутствия — это как дырка в ткани: можно зашить, но шов виден.

Когда уже за полночь начали расходиться ребята — парами, группами, по одному. Девчонки ушли — домой, с обещаниями позвонить, с поцелуями в щёку. Денис ушёл — последний, громко, с реверансом, крикнув: «Ну, всё, народ, не кучкуемся!». И — тишина.

Сергей остался один. Стоял в пустом парке, под фонарём, который мигал — жёлтый, больной. Ночь была тёмная, тёплая, с запахом реки и хвои. И — тишина. Та самая. Не тёплая, не холодная. Просто — тишина. Он стоял и думал: куда?

Домой — пьяному идти резона нет. Потому что это будет стопроцентная ругань. Мать — увидит, учует, скажет. Не «сынок, ты выпил» — нет. «Скотина, опять напился». Или молча — но так, что молчание бьёт. Отец — промолчит или скажет что-то короткое, тяжёлое, как гвоздь. Не пойдёт. Не сегодня. Не сейчас.

Пошёл думать что-нибудь насчёт ночлега. Пошёл в подъезд — рядом с их домом были девятиэтажки. Огромные, серые, панельные, с тысячей окон, в которых горел свет — жёлтый, тёплый, чужой. Чужой свет в чужих окнах. Чужое тепло. Чужой дом.

Это был самый оптимальный вариант, где можно было поспать. Подъезд — не квартира, но — крыша. Не кровать, но — пол. Не дом, но — стены. Стены — это уже что-то. На улице — ничего. В подъезде — хоть стены.

Вот он зашёл в подъезд. Дверь была открыта — вернее, двери не было, просто проём. Тёмный, пахнувший мочой и плесенью. Лестница — бетонная, холодная. Почтовые ящики — ряды железных, ржавых, с прорехами. Сергей открыл несколько — пустые, ржавые, с мусором. Набрал газет — мятых, старых, с заголовками про кризис и про выборы. Постелил под задницу — на ступень, в углу, где не дует. Сел. Попробовал прилечь — осторожно, на бок, свернувшись. Бетон был холодный, жёсткий, и сразу забрал тепло — из тела, из костей. Газеты не помогали — они были слишком тонкие, слишком жалкие. Но — лучше, чем ничего.

Дремал очень чутко. Не спал — дремал. Одним ухом — слушал. Каждое движение, каждый шорох, каждый шаг. Шаги на лестнице — кого? Сосед? Чужой? Мент? Вор? В каждом звуке — угроза. Сергей лежал и слушал — всем телом, кожей, затылком. Спать — нельзя. Спать — значит сдать. Спать — значит стать добычей. Чуткость — это жизнь. Глубокий сон — это роскошь для тех, у кого есть дверь, замок, ключ. У Сергея — ни двери, ни замка, ни ключа.

Соном это нельзя было назвать. Это было — дремота. Тело отдыхало, но голова — нет. Голова крутилась — мысли, образы, обрывки. Вот мать — не смотрит. Вот отец — «здравствуйте». Вот тётя Надя — «Серёжа!». Вот Денис — «куртка новая, мать с Москвы». Вот Вася — дрожащий, с пакетом. Вот река — тёмная, холодная, flowing.

И ему стало — легче. Не хорошо — легче. С одной стороны — легче. Он не дома. На него не давят эти косые взгляды, что ли, давали ему понять, что ты здесь не нужен, уходи. Здесь — в подъезде — никто на него не смотрел. Здесь — в темноте — он был один. И в одиночестве — свобода. Горькая, холодная, бетонная — но свобода. Никто не говорил «здравствуйте». Никто не говорил «чай будешь?». Никто не говорил ничего. И это «ничего» — было лучше, чем «здравствуйте».

Просто сказать в открытую этого ему не могли — что «уйди». Не могли, потому что нельзя. Он — сын. Но он понимал, что он там не нужен. Что он там чужой. Что это не его семья. Он лежал на холодном бетоне, на мятых газетах, в чужом подъезде, и думал: для чего его родили? Для чего? Чтобы вот так он мучился? Чтобы лежал на ступеньках, как собака? Чтобы грабил терпил на деньги? Чтобы пил пиво один? Да лучше бы он вообще не родился. Лучше бы — не было. Ни его, ни спецшколы, ни забора, ни цепи, ни сундука. Ничего.

Сергей так с этими мыслями караулил, оберегая себя. Думал, что будет завтра, как придёт день. Он уже не обращал внимания — на усталость, на холод, на голод. Всё это стало фоном, шумом, нормой. Он понял главное: надо уезжать. Уезжать из этого города. Здесь — ничего. Здесь — пусто. Здесь — дом, который не дом, и семья, которая не семья. Надо — в другой город. Туда, где никто не знает. Где можно начать. Не заново — с нуля. С чистого листа. Без «Пешков», без «спецшколы», без «здравствуйте».

Ну надо, чтобы уехать, надо, чтобы были деньги хоть какие-то на первое время. Он начал продумывать варианты. Где можно разжиться деньгами, чтобы куда-то что-то двинуться и где-то с чего-то начать всё заново. Это было не так просто. Работы — нет. Знакомых с деньгами — нет. Способов — мало. Грабить — можно, но мало, и опасно, и — Вася уже был, второй Вася — это риск. Продавать — нечего. Просить — не у кого. Воровать — вот. Воровать — это другой разговор. Воровать — не грабить. Грабить — это в лицо, с угрозой, со страхом. Воровать — это тихо, аккуратно, незаметно. Воровать — это ум. Грабить — это сила.

И тут он вспомнил. Денис. Надоевшего выскочку Дениса. Вчера — нет, сегодня — Денис горевал, нет, хвастался, что у него мать приехала с Эмиратов, привезла кучу новой одежды. Сергей это хорошо запомнил. Запомнил — как Денис говорил, как девчонки смотрели, как Денис радовался — не вещам, а тому, что на него смотрят. Новая одежда — куртки, джинсы, футболки. Дорогие. Брендовые. В Эмиратах — дешёвые, здесь — дорогие. Если взять — продать. Если продать — деньги. Если деньги — билет. Если билет — свобода.

Значит, на следующий день Сергею надо было отыскать эту компанию. И попробовать как-нибудь стиснуть ключи у Дениса. Не отобрать — стиснуть. Аккуратно, незаметно. Чтобы Денис не заметил. Чтобы — потом, когда заметит, было поздно. Ключи — от квартиры. Квартира — где вещи. Вещи — где деньги. Цепочка простая, как задача по арифметике: ключи → квартира → вещи → деньги → билет → свобода. Шесть шагов. Шесть — немного. Шесть — это мало. Шесть — это — можно.

С этими мыслями Сергей уснул. Не уснул — подрёмывал. Чутко, тихо, одним ухом. Часов до шести. Потом начали хлопаться двери — соседи, люди, жизнь. Начал ездить лифт — гулко, нутжно, с металлическим лязгом. Сергей, чтоб его никто не заметил, встал. Тихо, быстро, без шума. Собрал газеты — смял, засунул в урну. Затёр следы — как учили. Не оставляй. Не оставляй ничего. После себя — чисто. Не потому что чистота — а потому что след. След — это улика. Улика — это повод. Повод — это мент. Мент — это забор.

Глава 7. Утро без утра

Вышел из подъезда. Было раннее утро — шесть, может чуть больше. Солнце уже встало — сибирское лето, солнце рано. Но солнце — не грело. Или грело — но Сергей не чувствовал.

Он не выспался. Тело — затёкшее, холодное, как у трупа. Спина — не спина, а доска. Шея — не шея, а кол. Ноги — ватные. Глаза — песок. Хотелось спать — так, что всё остальное не имело значения. Не есть, не пить, не жить — спать.

Он думал, где бы ещё подремать. Но прилечь было негде. Парк — открыто, видно, прохожие. Двор — то же. Школа — лето, закрыта. Гаражи — есть, но люди уже ходят, могут спросить: «Ты чё тут?». Нельзя. Негде.

Он не позавтракав, не умывшись, ничё шарахался по улицам. Не знал куда припереться, присесть, где можно было подремать спокойно, чтобы его никто не беспокоил. Город был утренний — свежий, пустой, тихий. Люди шли на работу — мимо, быстро, с сумками, с глазами в асфальт. Никто не смотрел на пацана в мятой футболке, с красными глазами, с лицом, которое не спало. Он был — невидим. Опять. Всегда.

Мальчишек-девчонок он знал, что ещё раньше обеда он никого не найдёт. Они спали — после вчерашнего, после парка, после пива. Подростки спят долго — пока мать не разбудит, пока не прогонит из кровати. До обеда — мёртвый час. Можно — не искать. Можно — ждать.

Он ходил на рынок. Не грабить — работать. Попробовал кому-то помочь — за несколько помидор, за огурцы. Перетащить ящики, разложить продукты. Торговцы смотрели — оценивающе. Пацан, худой, с татуировкой на руке. Не слишком ли? Не сбежит ли? Не украдёт ли? Но Сергей работал — молча, быстро, без разговоров. Таскал ящики — тяжёлые, деревянные, с яблоками, с помидорами. Раскладывал — аккуратно, как учили: ровно, рядами, лицом вверх. Работал — и забывал. Забывал про ночь, про бетон, про холод, про «здравствуйте». Тело работало — голова отдыхала. Руки заняты — мысли улеглись.

Помидоры — за труд. Три, четыре. Огурцы — два. Тёплые, мягкие, с запахом земли. Он ел их — стоя, за прилавком, не отходя. Ел — жадно, быстро, с кожурой, с хвостиками. Сок тек по подбородку — красный, тёплый, сладкий. Первая еда за день. Не «чай без сахара». Не «заварка как всем». Помидоры. Заработанные. Свои. Он ел и чувствовал: вот так — правильно. Вот так — надо. Работать — есть. Не грабить — а работать. Но — работы мало. Помидоров — мало. Денег — нет. Работать — можно, но не на это уедешь.

Ну вот так он пока ждал полудня. Ждал, когда появится Денис с девчонками. Когда можно будет думать что-то дальше. Когда — компания, смех, голоса. Когда — можно будет подойти, поздороваться, сесть рядом. Когда — можно будет стиснуть ключи. Аккуратно, тихо, незаметно. Как в спецшколе учили: не торопись, не дёргайся, не светись. Жди — и момент придёт. Момент — всегда приходит. Надо — ждать. Надо — быть рядом. Надо — смотреть. И когда Денис полезет в карман за сигаретами, за зажигалкой, за чем угодно — ключи будут видны. Ключи — в кармане. Карман — открыт. Рука — рядом. Быстро, тихо, незаметно. Как вдох. Как выдох. Как — ничего не было.

Сергей сидел на лавочке у рынка, грыз помидор, смотрел на солнце. Солнце было высокое, яркое, жёлтое. Жара начиналась. Лето — продолжалось. Июнь. Ещё — июнь. Впереди — июль, август. Три месяца. Много. Или — мало. Зависит — от того, как считать. По дням — много. По делам — мало. Одно дело — ключи. Если ключи — то дальше. Если дальше — то билет. Если билет — то свобода. Если свобода — то — жизнь. Новая. Чистая. Без «здравствуйте». Без сундука. Без цепи.

Если.

Сергей доел помидор, вытер руку о джинсы, и ждал.

Глава 8. Ключи

К полудню Сергей так и встретился в парке с девчонками. Они сидели на лавочках у дискотечной площадки — машинки уже задвинули, сетка натянута, колонки молчали до вечера. Девчонки — три, четыре — в коротких топах, в джинсах, с глянцевыми губами и тонкими сигаретами. Смех, болтовня, кто-то кому-то рассказывал про вчерашнее, кто-то жаловался на мать, кто-то хвастал новыми кедами. Обычный летний день. Обычная компания. Сергей сидел рядом — молчаливый, внимательный, с пивом «Балтика тройка» в руке. Пиво уже тёплое, но он пил — медленно, по глотку, растягивая. Не ради вкуса — ради присутствия. Чтобы быть — здесь. Со всеми. Как все. Не сундук — человек.

Чуть позже, ближе к обеду, подошёл Денис. Как всегда — громко, заметно, с шумом. Крикнул издалека:

— О, народ! Не скучаем?

— Дениска! Наконец-то! — девчонки заулыбались, зашевелились. Денис любил это — когда его ждали. Когда его приход замечали. Он шёл к ним — уверенный, высокий, в новых джинсах, в белой футболке, с солнечными очками на голове. Смотрел на мир — поверх стёкол.

— Серый! — Денис увидел Сергея, хлопнул по плечу. — Ты чё, вчера так рано свалил? Мы ещё гуляли!

— Да так, — сказал Сергей. — Дел полно. Надо было бежать.

— Дел он! — Денис засмеялся. — Какие у тебя дела? Ты ж на курорте был, отдыхающий!

— Отдых закончился, — сказал Сергей. Коротко. Без улыбки.

Денис не заметил — или не захотел заметить. Он уже рассказывал девчонкам про новые шмотки:

— Вчера мать распаковала — вы бы видели! Джинсовый костюм, фирменный, из самого Дубая. Не найдёшь здесь. И кроссовки — «Найк», настоящие. Не подделка.

— Денис, ты всю жизнь в фирменном ходишь, — сказала одна девчонка. Лена, кажется. — У тебя мать что, миллионерша?

— Ближе к тому, — Денис усмехнулся. — Коммерсант. В Эмиратах закупает, здесь продаёт. Бизнес.

Сергей слушал и молчал. Слушал — и смотрел. Смотрел на Дениса — на его руки, на карманы, на то, как он двигался. Он не слышал слов — он видел движение. Куда Денис клал руки, куда лез, откуда доставал сигареты, зажигалку, телефон. Каждый жест — карта. Каждый

карман — точка на карте. Сергей читал Дениса, как книгу — не глазами, а периферией. Боковым зрением. Так, чтобы не было видно, что он читает.

Сергей болтали обо всём да о всяком. То с девчонками поболтает, посмеётся, пошутит. То молчит — и тогда лицо его становилось ровным, спокойным, как вода без ветра. Он пытался найти момент. Момент — это когда Денис расслабится. Когда забудет про карманы, про ключи, про осторожность. Когда — внимание уйдёт в разговор, в смех, в девчонок. Когда — можно.

И вот он уловил момент. Денис снял куртку — джинсовую, синюю, модную, с нашивками. Снял — потому что жарко. Солнце пекло, пот катился, и Денис стянул куртку одним движением — небрежно, легко — и повесил её на спинку лавки. На спинку — где все вешают. Не подумал. Не проверил карманы. Просто — снял и бросил. Как бросают то, что не ценно. Куртка — не ценно. Ценно — внутри.

Сергей присел на лавочку — рядом с курткой. Тоже болтал ни о чём, да обо всём. Девчонки смеялись, кто-то рассказывал про школу, про кого-то, про что-то. Сергей смеялся — в нужных местах, кивал в нужных местах. Но руки — руки работали отдельно. Руки — не принадлежали разговору. Руки принадлежали делу.

Незаметно — пальцы скользнули в карман куртки. Левый, внутренний. Там — ключи. Брелок — пластмассовый, круглый, с эмблемой машины. Денис любил брелоки — как и всё, что блестит и стоит денег. Ключи — два: один от квартиры, один от чего-то ещё, может, от подвала или от гаража. Сергей нащупал их — пальцами, не глядя. Холодные, металлические, тяжёлые. Вытащил — медленно, плавно, без рывка. Как вдох. Как выдох. Ключи скользнули в его карман — в правый, глубокий, и легли там тихо, без звука.

Полдела уже было сделано.

Сергей не дёрнулся. Не ускорил дыхание. Не посмотрел на Дениса. Продолжал болтать, смеяться, кивать. Лицо — ровное. Руки — спокойные. Пульс — ровный. В спецшколе учили: после того как взял — живи как обычно. Не меняй ритма. Не меняй выражения. Не уходи сразу. Уход — это сигнал. Сигнал — это конец. Уходить надо — потом. Когда всё забыли. Когда — ничего не было.

Теперь надо найти причину. Причину — чтобы объяснить своё отсутствие. Нельзя просто встать и уйти — это заметно. Надо — причину. Естественную, простую, обычную. Причину, которую не запомнят. Которая — как «пойду попить» или «мне позвонили». Мелочь. Ничто. Но — достаточна, чтобы исчезнуть.

Сергей знал, что у Дениса мать работает на рынке. Торговля. Стол, палатка, товар. С утра до вечера — на рынке. До вечера — точно. Значит, квартира пустая. До вечера. А Денис — здесь, с девчонками, будет болтать до вечера. Это — точно. Денис не уйдёт раньше, потому что девчонки — это его сцена. Сцена — до темноты. Значит, время — есть. Но — не много. Часа три, может четыре. Если управиться — хорошо. Если нет — плохо.

Сергей подождал. Минут десять. Пятнадцать. Болтал. Смеялся. Потом — как бы невзначай:

— Ладно, народ, мне надо отлучиться. В центр, по делам.

— По каким делам? — спросила Лена.

— Да по работе. Надо кое-куда заскочить. Мало ли, может, что найду на лето.

— На работу? — Денис усмехнулся. — Ты? Серый, ты ж курортник!

— Курортник-курортник, — сказал Сергей. — А жрать хочу. Вот и пойду, поищу.

— Ну удачи, — сказал Денис. Не глядя. Не думая. Денис не думал о Сергее — Денис думал о себе. О девчонках. О том, как он выглядит на этом солнышке, в этой футболке, с этими плечами. Сергей — мелочь. Сергей — фон. Сергей — ушёл и ушёл.

Ребятня ему вся попрощалась, помахался с девчонками, сказал, что увидятся. Махнул — легко, небрежно, как машут тем, кто вернётся. Потихоньку улёзнул. Не быстро — средним шагом. Не оглядываясь. Не ускоряя. Шёл — как шёл бы любой, кто идёт в центр. Нормально. Обычно. Ничего особенного.

А когда свернул за угол, за деревья, за пределы парка — ускорился. Сильно. Ноги пошли — быстро, часто, как у солдата на марше. Не бег — бег заметен. Быстрый шаг. Цельный, ровный, без остановок. Он шёл — и думал: ключи в кармане, ключи тёплые от тела, ключи — вот они, рядом. Полдела. Полдела — сделано. Теперь — вторая половина. Вторая — сложнее. Вторая — это квартира. Чужая. Денисова. С вещами, с сумками, с деньгами. Если повезёт — с деньгами. Если не повезёт — с вещами. Вещи — тоже деньги. Но деньги — лучше.

Глава 9. Квартира

Он быстрым темпом шёл от парка. Прилично надо было пройти — через несколько улиц, мимо рынка, мимо школы, мимо автостанции. До «Китайской стены» — так назывался дом, изогнутый девятиэтажный, красный. Красный кирпич, изогнутый фасад, длинный, как змея. Дом выглядел странно — среди серых панельных коробок он был как хребет динозавра, выгнутый, красный, зубчатый окнами. Почему «Китайская стена» — Сергей не знал. Может, из-за изгиба. Может, из-за длины. Может, кто-то пошутил, и прижилось. В Сургуте многое прижилось от шуток — названия, клички, песни. Так и жили.

В течение двадцати минут он добрался до нужного дома. Зашёл в подъезд — быстро, уверенно, как свой. Не оглядываясь, не hesitate. Подъезд был чистый — не то что его, с мочой и плесенью. Здесь — плитка на полу, лифт — рабочий, кнопки — целые. Дом новый, дом Денисов. Дом, где живут те, у кого деньги. Здесь — чисто, светло, тепло. Здесь — не как у Сергея. Здесь — другой мир. За одной дверью — деньги. За другой — сундук.

Ему никто не попадался на пути. Тихо. Пусто. Летний день — все на улице, на дачах, на речке. Подъезд — как вымерший. Тишина — та, которая не давит, а прячет. Хорошая тишина. Удобная. Он поднялся на седьмой этаж в лифте — быстро, гулко, с покачиванием. Лифт был старый, с решётчатыми дверями, с лампочкой, которая мигала. На седьмом этаже вышел. Прислушался. Тихо. Ни музыки, ни голосов, ни телевизора. Пусто. Хорошо.

Подошёл к двери. Дверь — обычная, деревянная, с обивкой. Не железная, как у его отца. Здесь — не боялись. Здесь — не ставили железо. Здесь — соседей не боялись, воров — не ждали. Может, зря. Сергей достал ключи — из правого кармана, где они лежали, тёплые, тихие. Вставил — в замок. Ключ вошёл — гладко, без сопротивления. Провернул — щелчок. Мягкий, короткий. Открыл быстро дверь — по-хозяйски, как свою. Не дёргал, не тянул — толкнул. Дверь поддалась — плавно, без скрипа.

Закрыл за собой — сразу. Изнутри. Щелчок. И — всё. Он внутри. Он — в квартире Дениса. Один. С ключами. С временем. С тишиной.

Остановился. Постоял. Прислушался. Тишина — абсолютная. Только холодильник гудел — ровно, низко, как кот, который мурчит во сне. И где-то далеко, за окном, — детский голос на улице, и машина проехала, и — снова тишина.

Вся квартира была заставлена сумками. Челночными, барыжьими сумками. Сумки стояли — везде: в коридоре, в комнате, на кухне. Большие, пёстрые, с замками-молниями, с этикетками на арабском, с запахом пластмассы и ткани. Сумки — из Эмиратов, из Дубая, из тех мест, про которые Сергей слышал только по телевизору. Мать Дениса не врала — она действительно привезла много вещей. Очень много. Кучу. Горы. Сумка на сумке, пакет на пакете. Вещи — новые, с бирками, с этикетками, с ценами в дирхамах. Футболки, джинсы, куртки, платья, обувь, сумки, часы — всё новое, всё фирменное, всё — дорогое. На самом деле он не врал, что мама привезла много вещей из Эмиратов.

Сергей недолго думая начал шнырять по сумкам. Быстро, аккуратно, не разбрасывая. Руки — ловкие, привычные. В спецшколе учили: не сори. Не оставляй следов. Бери — и закрывай. Каждую сумку — открыл, заглянул, оценил, закрыл. Выбирал — чё поинтереснее, чё по его размеру. Его размер — маленький. Худой, сухой, рост — средний. Не всё подходило. Денис — крупнее, выше. Но мать привезла и мелкое — для младших, для родственников, на продажу. Сергей выбирал — тщательно, как в магазине. Примерял — быстро, на глаз. Футболки — три, четыре. Джинсы — две пары. Кроссовки — одни, почти его размер. Куртка — лёгкая, летняя, с капюшоном.

Вот Сергей собрал кучу вещей своего размера. Куча — на полу, в комнате, у дивана. Посмотрел — оценил. Хватит. Хватит — на первое время. На продажу — если что. На себя — если что. Он начал раздеваться — прямо там, в квартире Дениса. Снял свою — казённую, серую, стоптанную. Футболку — мятую, тонкую, с пятном от пива. Кроссовки — казённые, серые, стоптанные. Снял — и бросил на пол. Встал — голый, худой, жилистый, с татуировкой на левой руке, с мозолями на костяшках. Стоял посреди чужой квартиры — голый, как новорождённый. Только — не новорождённый. Четырнадцать лет, татуировка, глаза, которые знали слишком много.

Одел всё на себя — новое. Футболка — чистая, белая, мягкая. Джинсы — тёмные, плотные, с биркой. Кроссовки — новые, белые, пахнущие кожей и резиной. Куртка — лёгкая, на молнии. Он оделся — и стал другим. Не Пешков из спецшколы. Не пацан в казённом. Человек. Нормальный. Чистый. Новый. Как будто — начал. Как будто — стёр. Надел новую кожу — и старая осталась на полу, в чужой квартире, у чужого дивана. На минуту — минуту! — он почувствовал себя хорошо. Чисто. Свежо. Ново. Как после душа. Как после реки.

И тут — из сумки, когда он вытаскивал джинсовый костюм — что-то выпало. Не костюм — нет. Из сумки, из-под ткани, из-под слоя одежды — вывалился рулон. Скрученный толстой резинкой. Рулон — плотный, тугой, круглый. Бумага. Не бумага — деньги. Купюры. Скрученные, свёрнутые, перетянутые резинкой. Небольшая такая колбаска — денег. Он поднял — с пола. Тяжёлая. Пальцы ощутили — плотность, шершавость. Деньги.

Сердце — стукнуло. Один раз. Сильно. Как кулаком в грудь. И — успокоилось.

Он пересчитал — быстро, руками, не садясь, стоя. Купюры — разные: пятисотки, тысячные, двухсотки. Перебирал — как в банке, как кассир. Руки — не дрожали. Глаза — считали. Итог — двадцать три тысячи. Двадцать три. Тысячи.

Он сразу обрадовался — не засмеялся, нет, не запрыгал. Обрадовался — внутри. Тепло пошло — от живота, по рёбрам, к горлу. Тепло — как чай. Как крепкий, горячий чай. Но не из «чай будешь?» — из удачи. Из жизни, которая — впервые, может быть — подкинула. Думает: «Нормально. Значит, сегодня удача на его стороне».

Двадцать три тысячи. В 99-м это — деньги. Большие деньги. На это можно жить. На это можно уехать. На это можно — начать. Билет, дорога, еда, крыша — на первое время. На первое — хватит. А дальше — дальше будет видно. Дальше — он найдёт. Он всегда находил.

И в этот же момент — трезвость. Холодная, резкая, как вода из-под крана. Теперь он понимал точно: назад дороги никакой нет. Единственный вариант — бежать. Бежать из города. Потому что его объявят в розыск. Его будут искать. Денис обнаружит пропажу — сегодня, вечером, когда придёт домой. Заметит, что сумки вскрыты, что вещи пропали, что деньги — нет. Позвонит — матери, в милицию. Милиция — приедет, посмотрит, составит протокол. Опросят — кого? Соседей. Знакомых. Тех, кто был с Денисом сегодня в парке. Вспомнят — Сергея. «А, да, был какой-то Серёга, Пешков, недавно вернулся из спецшколы». И — всё. Его — найдут. Если не сбежит. Если останется — найдут. Если уедет — может, найдут, может, нет. Но — шанс. Шанс — это всё, что ему нужно.

Всё переоделся. Вещи свои забыл в квартире у Дениса. Казённые кроссовки — серые, стоптанные. Футболку — мятую, с пятном. Всё, что было на нём — из спецшколы, оттуда, из той жизни. Оставил — на полу, у дивана, как змеиная кожа. Вышел — новым. Но — забыл. Забыл свои вещи. И чем сыграл себе злую шутку. Вещи — это улика. Вещи — это след. Вещи — это «Сергей Пешков был здесь». Казённые кроссовки с биркой спецшколы — это как подпись, как отпечаток, как визитная карточка. Глупо. Глупо — но сделано. Он торопился. Торопился — и забыл. Удача — на его стороне, но удача не отменяет глупость. Глупость — это то, что остаётся, когда адреналин уходит. А адреналин — ушёл. И осталась — глупость.

Он вышел. Закрыв дверь — по-хозяйски, аккуратно. Ключи — оставил в замке. Снаружи. Вставил — и не вытащил. Пусть. Пусть Денис найдёт ключи в двери — может, подумает, что сам забыл. Может — нет. Не важно. Важно — уйти. Уйти — быстро.

Пошёл к лифту. На лифте он не стал ехать — лифт шумит, лифт — след. На камере, если есть. Или — на слух. Соседи услышат: лифт едет с седьмого этажа. Кто? Пошёл спускаться пешком — тихо, быстро, прижимаясь к стене. Семь этажей — семь пролётов. Ноги — лёгкие, новые кроссовки — мягкие, бесшумные. Спустился — без встречи. Ни одного соседа. Тишина. Пусто. Удача — на его стороне.

Огляделся — у подъезда. Никого. Жара, полдень, все — кто где. Двор — пустой. Детская площадка — пустая. Машины — стояли, но людей — нет. Он вышел быстро из подъезда — и быстрым шагом пошёл прочь. Не оглядываясь. Не ускоряя — не бег. Быстрый шаг. Как на дело. Как — от дела. Шёл — и чувствовал на себе новые вещи. Футболка — гладкая, чистая. Джинсы — плотные, тёплые. Кроссовки — мягкие, упругие. Он шёл — и был новый. Новый Сергей. С деньгами. С планом. С дорогой.

Глава 10. Дорога на юг

Он дошёл до автовокзала. Автовокзал был маленький — одно здание, бетонное, с кассой, с залом ожидания, с туалетом, который всегда вонял. Перед зданием — площадка, где стояли автобусы. Городские, пригородные, дачные. Автобусы — разные, как люди: городские — жёлтые, помятые, с рваными сиденьями. Пригородные — белые, получше, с занавесками на окнах. Дачные — старые, «ПАЗики», раздолбанные, с дырами в полу. Сергей выбрал — дачный.

Он уже знал дорогу. Знал — потому что бывал здесь, до спецшколы. Знал, что на посту ГАИ, на шестом километре, проверяют. Останавливают, спрашивают, досматривают. Но — не все. Не дачные. Дачный автобус — это святое. Дачники — бабушки, дедушки, с рассадой, с лейками, с ведрами. Кто их остановит? Зачем? Ради помидоров? Дачный автобус — на посту ГАИ не останавливают и не досматривают. Он спокойно едет. Как река — мимо камня.

Сергей залез в автобус. Автобус был набит — бабки, деды, сумки, ведра, лейки. Пахло землёй, рассадой, потом, бензином. Он встал — мест не было, стоял, держался за поручень. Бабки смотрели — на нового, чистого, молодого. Не косо — с любопытством. Молодой, красивый, чистый — зачем в дачный автобус? Может, к матери на дачу? К бабушке? Нормально. Бабки — не спрашивали. Бабки — молчали и смотрели. Сергей молчал и не смотрел.

Заплатил за билет — conductor подошла, пожилая, с сумкой через плечо, с рулоном билетов. Двадцать рублей. Протянул — пятидесят. Она дала сдачу — мелочью, монетами, звенящими. Билет — маленький, бумажный, с цифрами. Сергей спрятал — в карман. К карману, где деньги. Двадцать три тысячи — рядом с билетом за двадцать рублей. Контраст.

Поехал. Автобус тронулся — рывком, дёрганно, с рёвом и дымом. Поехал — мимо города, мимо домов, мимо гаражей. Город — уходил. Уезжал — назад, в окно, в прошлое. Дома — мелькали, уменьшались, исчезали. Серые пятиэтажки, красные кирпичные, жёлтые «ПАЗики» на остановках. Всё — мельче, меньше, дальше. И — всё. Город кончился. Началась трасса.

Он ехал в автобусе и прощался. Прощался с городом — уже не так, как в первый раз. Тогда, четыре года назад, его увозили — не спросив. Сейчас — он уезжал сам. Сам — выбрал. Сам — решил. Это — другое. Тогда — жертва. Сейчас — охотник. Тогда — везли. Сейчас — ехал.

Опять прощался с городом. Но уже не так его сердечное это задевало, что он скучает по дому. Нет. Он понимал, что это не его. Что дом — не дом. Что семья — не семья. Что «здравствуйте» — не «сынок». Что «чай будешь?» — не «ешь». Что сундук — не он. Что он

— не сундук. Что он — человек. И что человек — не живёт в сундуке. Человек — идёт. Туда, где лучше. Должно быть что-то в жизни у него лучше. Должно — быть. Если нет — он сделает. Если не делает — умрёт. Но — не в сундуке.

Он смотрел в окно. Тайга — зелёная, густая, бесконечная. Берёзы, сосны, кедры, мох, болото. Болота — тёмные, с водой, которая блестела на солнце, как стекло. И небо — синее, глубокое, с облаками, которые плыли — медленно, лениво, как рыбы в аквариуме. Красиво. Сергей видел красоту — но не чувствовал. Красота — для тех, кому хорошо. Ему — нет. Ему — дорога. Дорога — не красивая. Дорога — длинная.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.